
Кровь
и
Контракт

А Вейр

Кровь и контракт

«Автор»
2026

Вейр А.

Кровь и контракт / А. Вейр — «Автор», 2026

Артём Ланской берёт заказ, от которого нельзя отказаться: за тройную плату восстановить особняк на Каменном острове. Хозяйка, холодная вампирша Элеонора Ферзен, ставит условия: работать только ночью, не трогать зеркала и подписать контракт, где первым пунктом стоит согласие на каждое прикосновение.Вскоре Артём узнаёт, что его брат в руках древнего вампира Корвина, а чтобы его освободить, придётся разорвать тридцать четыре нити, и за каждую заплатить памятью. Рядом семья, друзья и женщина, которая обещает помнить за него всё.Что останется от человека, если забыть всё, кроме имени той, кого любишь?

© Вейр А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Особняк на Каменном 6
Глава 2. Условия 9
Глава 3. Гость 13
Глава 4. Правила ночи 16
Глава 5. Брат 19
Глава 6. Партия 22
Глава 7. Правда 25
Глава 8. Совет 28
Глава 9. Сенная 32
Глава 10. Кровь по доброй воле 35
Глава 11. Колыбельная 38
Конец ознакомительного фрагмента. 40

А Вейр
Кровь и контракт

Кровь и контракт
Роман

Глава 1. Особняк на Каменном

В конце октября дождь в Петербурге не идёт — он просто висит в воздухе, и ты дышишь им, как холодным дымом. Я стоял у чугунных ворот на Каменном острове, и вода уже затекла мне за воротник, когда я в третий раз перечитал сообщение.

«Двадцать три часа. Не раньше и не позже. Э. Ферзен».

Четыре часа назад я не знал, кто такая Э. Ферзен. Сейчас знал только, что она готова заплатить за реставрацию особняка втрое больше рыночной цены. А мне эти деньги были нужны так, как бывает нужен воздух человеку, которого держат под водой.

У меня в кармане лежал телефон с тремя пропущенными от Глеба Рогова. Он никогда не повышал голос и никогда не угрожал напрямую. Просто говорил: «Артём, я помню, что ты хороший парень. Давай оставим это в памяти обоих», — и от этой мягкости у меня каждый раз холодели пальцы. Брат взял у него деньги, брат пропал, и теперь долг перешёл ко мне, как перешла бы старая куртка. Рогов дал срок до пятницы. До пятницы оставалось три дня.

Последнее сообщение от Кирилла пришло полтора месяца назад. Я так и не стёр его, хотя сотню раз собирался. Голос у брата был быстрый, весёлый, чуть сбивчивый, как всегда, когда он влезал во что-то безумное и ещё не понимал, насколько глубоко: «Тём, привет! Слушай, мне надо кое-что тебе рассказать, но не по телефону. Ты только не злись, ладно? Я всё продумал, там железно. К ужину в субботу буду, привезу пиво». Пива он не привёз. В субботу его не было. И в следующую тоже.

Я слушал это сообщение каждый вечер, как слушают дождь за окном: не надеясь ничего услышать, просто чтобы в комнате был звук. И каждый вечер ловил себя на том, что мысленно договариваю за него: «Всё будет хорошо, Тём. Вот увидишь».

Я глянул на часы. Без двух минут одиннадцать.

За оградой в глубине сада темнел дом. Я видел его только контурами: высокая крыша с провалом в одном месте, два этажа стрельчатых окон, и ни в одном ни огонька. Он стоял среди облетевших лип, как корабль, севший на мель сто лет назад и с тех пор не потревоженный ни одним приливом.

Ровно в одиннадцать ворота открылись сами.

Без скрипа, без звонка, без человека рядом. Просто створки разошлись, будто дом решил меня впустить. Я постоял ещё секунду, сам не зная зачем, и шагнул на дорожку.

Гравий под ногами был мокрым и очень тихим. Я шёл по аллее, мимо пустого фонтана с отбитым крылом у каменной нимфы, мимо кустов, превратившихся в чёрные клубки, и всё это время не мог отделаться от ощущения, что за мной наблюдают. Не из окон. Из самой земли, из ветвей, из тёмных углов между колоннами портика. Профессиональная часть меня забыла о страхе и о долгах: это был не дом, а память о доме, бережно законсервированная кем-то, кто не желал, чтобы время прикасалось к стенам.

Фасад определился сразу: конец восемнадцатого века, потом перестроен в николаевское время, потом долго и осторожно не трогался. Лепнина на карнизе посыпалась, но рисунок читался. Я привычно прикинул объём работ и впервые за вечер улыбнулся: такие заказы бывают раз в жизни.

Дверь открыл старик в чёрном сюртуке. Лицу его можно было дать и шестьдесят, и восемьдесят: гладкое, спокойное, как у человека, давно разучившегося удивляться. Глаза у него были такие, какие бывают у людей, видевших слишком много зим.

— Господин Ланской. Вас ждут.

Холл пах воском, сухими розами и чем-то металлическим, едва уловимым, как привкус монеты во рту. Я заметил зеркала почти сразу. Их было много: огромные, в тяжёлых рамах, они висели на каждой стене, и все до единого были занавешены чёрным бархатом.

— Траур? — спросил я, не удержавшись.

— Привычка, — ответил старик. И больше ничего не добавил.

Мы пошли по длинной анфиладе. Свечи в канделябрах горели ровно, без дрожи, и никакого другого освещения я не увидел: ни ламп, ни выключателей. Под ногами скрипел паркет, мягко, по-старинному, и я успел отметить, что рисунок набран «ёлочкой» с вставкой из тёмного ореха. Работа мастера. Кто-то любил этот дом.

В одном из простенков, между двумя занавешенными зеркалами, висел маленький карандашный рисунок в простой деревянной рамке: фасад этого самого дома, набросанный твёрдой, уверенной, чуть торопливой рукой. Я задержался. Привычка: рисунок был хорош. Пропорции выдержаны безупречно, тени положены скупо, но точно, и в правом нижнем углу, едва заметно, стояли подпись и год: «В. Ланской, 1891».

— Вы знали автора? — спросил я.

Старик не обернулся.

— Это дом знал автора, господин Ланской.

Фамилия не редкая, сказал я себе. В Петербурге таких Ланских не меньше десятка. Но внутри что-то неприятно и почти радостно дёрнулось, как дёргается леска, когда клюёт крупная рыба. Следующие несколько шагов я шёл, оборачиваясь на тёмный прямоугольник рамы, и всё пытался вспомнить, не слышал ли когда-нибудь от мамы эту подпись.

Дверь в конце анфилады была приоткрыта, и из щели падала полоса света, тёплого, неровного, живого, как свет камина.

Сначала я увидел только его: огонь в широком очаге, одна лампа с зелёным абажуром на столе и корешки книг, на которые ложились красные и золотые пятна. Потом из кресла у окна поднялась женщина.

Ей на вид было лет тридцать пять. Тёмные волосы собраны на затылке так строго, что это казалось вызовом. Платье цвета бутылочного стекла, закрытое до самого горла, с открытой спиной. Я понял это, когда она шагнула к столу. Лицо не было красивым в привычном смысле. Оно было точным: скулы, линия рта, брови, как будто их провёл одним уверенным взмахом пера мастер, не сомневающийся ни в одном штрихе. А глаза, серые, почти бесцветные, смотрели на меня так, будто уже решили, что со мной делать.

На секунду я забыл, зачем пришёл.

— Артём Ланской, — сказала она. Голос низкий, ровный, с едва заметной старомодностью, как у людей, которые учили язык по книгам. — Двадцать восемь лет. Реставрация усадьбы Голицыных, Дом Мурузи, часовня в Ново-Девичьем. Вы работаете лучше, чем вам платят.

— Вы наводили справки.

— Я всегда навожу справки.

Она протянула мне руку. Я пожал её и вздрогнул. Пальцы были холодными, как мрамор в подвале. Но стоило ей сжать мою ладонь чуть сильнее, как по руке побежало тепло, и не от неё. От моего собственного пульса, который вдруг застучал так громко, что мне показалось: она слышит.

Она слышала. Я понял это по тому, как её взгляд на мгновение скользнул к моему запястью, а потом вернулся к лицу. Пауза была короткой. Но в эту секунду воздух между нами стал плотнее, как перед грозой.

— Садитесь, — сказала Элеонора Ферзен. — Условия у меня простые, но их много.

Она говорила, а я слушал и записывал, потому что так проще было не смотреть на неё слишком долго.

— Вы реставрируете по чертежам или по ощущению? — вдруг спросила она, не прерывая перечисления условий.

Я поднял голову.

— По обоим. Чертежи говорят, как должно быть. Ощущение, как было на самом деле. Если они спорят, я слушаю ощущение.

— Это ненадёжно.

— Зато честно. — Я пожал плечами. — Лепнина не умеет врать. Если мастер торопился, это видно по каждому завитку. Если любил, тоже.

Она помолчала. Потом едва заметно кивнула, словно получила ответ на вопрос, который задавала не мне.

— Хорошо, — сказала Элеонора. — Продолжим.

Работа только ночью. Приходить к одиннадцати, уходить до рассвета. Слово «рассвет» она назвала не «утром», а «часом, когда дом засыпает». Восточное крыло закрыто, и туда нельзя заходить, даже если дверь окажется открытой. Зеркала не трогать. Не приглашать никого в дом. Никому не рассказывать, чем я занимаюсь и для кого.

— Это странные условия, — сказал я.

— Это справедливые условия. Взамен вы получите деньги, которых хватит, чтобы закрыть ваш долг. — Она сделала паузу. — Все семьсот сорок тысяч.

У меня пересохло в горле. Об этой цифре знали трое: я, мой брат и человек, которому я был должен.

— Откуда…

— Есть ещё один пункт, — перебила она, и впервые в её голосе мелькнуло что-то похожее на мягкость. — Контракт. Не только на работу.

Она подошла к камину и достала из ящика стола тонкую папку без названия, без печати. Положила передо мной.

— Прочтите. Подумайте. Ответ — до рассвета.

Я смотрел на её руки. Тонкие, длинные пальцы, ни одного кольца, на ногтях ни следа лака. Руки пианистки или хирурга, подумал я. Они лежали на папке спокойно, но костяшки были чуть белее, чем всё остальное, и я вдруг понял, что она тоже нервничает. Не как человек, который что-то скрывает. Как человек, который слишком долго ждал этого разговора и боится, что его сорвёт неловкое слово.

Я раскрыл папку. Первая страница была пустой. На второй стояла единственная строка, написанная от руки тёмными чернилами, которые в свете лампы казались почти красными:

«Я, Артём Ланской, добровольно вступаю в соглашение с Элеонорой Ферзен и принимаю его последствия».

Ниже было пустое место для подписи. И ещё ниже, мелко, другим почерком, будто кто-то дописал это позже и в спешке:

«Не подписывай. Он уже знает, где ты».

Я поднял глаза.

Элеонора стояла у камина, и пламя рисовало на её лице тени. Но на стене за её спиной тени не было. Ни её собственной, ни от кресла, ни от лампы. Только гладкие золотые блики на обоях.

— Кто это написал? — спросил я хрипло.

Она повернула голову. И впервые за весь вечер я увидел в её серых глазах не расчёт, а страх.

— Значит, — сказала Элеонора, — он добрался быстрее, чем я думала.

Глава 2. Условия

До дома я добрался в пятом часу утра, с папкой под курткой, как с чужим сердцем.

Петроградская сторона спала. Фонари горели вполсилы, мокрый асфальт отражал их жёлтые круги, и пустой трамвай прогремел по Большому проспекту так, будто вёз только собственный звон. Я шёл пешком от самой Тучкова моста, потому что в машине, на людях, у меня не получилось бы думать. А думать было о чём.

Квартира встретила меня холодом и запахом вчерашнего кофе. Съёмная, на пятом этаже без лифта, с эркером, в котором я когда-то мечтал поставить кульман, и с трещиной по потолку, которую я каждое утро собирался заделать и каждое утро откладывал. Брат обычно сидел вон на том подоконнике, поджав колени, и ел яблоки, пока я возился с чертежами. Теперь подоконник был пуст.

Я набрал номер Кирилла. Привычка, почти ритуал. Длинные гудки, потом сухой механический голос сообщил, что абонент недоступен. Я набрал ещё раз. Ещё раз. На десятый звонок голос сказал то же самое, и я положил телефон на стол экраном вниз, как кладут карты, которые нечем бить.

На холодильнике, под магнитом в виде жёлтой утки, висела записка, которую брат оставил мне в августе: «Купил молоко. Не пей, это для каши». Я так и не выбросил её. Молоко давно прокисло, каши никто не варил, но утка по-прежнему держала записку, как держат последнее слово.

На автоответчике мигали три сообщения, и все от одного человека. Голос Глеба Рогова всегда был спокойный, почти ласковый, и от этого становилось только хуже.

«Артём. Пятница. Я помню, что ты хороший парень».

Второе. «Мы с тобой взрослые люди. Давай не будем усложнять».

Третье было короче всех. «Я знаю, где ты живёшь. Просто чтобы ты помнил, что я знаю».

Я выключил автоответчик и несколько минут сидел, глядя на стену. Пятница наступала через два дня. Семьсот сорок тысяч рублей я собрал бы за пять лет, если бы не ел, не пил и не платил за квартиру. Кирилл взял эти деньги в долг на какую-то авантюру с оборудованием, о которой даже не потрудился мне рассказать. Потом пропал. Телефон молчал уже месяц.

Я включил лампу, сел за кухонный стол и раскрыл папку.

Читал дважды. Условия оказались именно такими, как она сказала: ночная работа, закрытое крыло, молчание. Гонорар выплачивается частями, первая сразу после подписи. Всё остальное вмещалось в два листа мелким, очень ровным шрифтом, и юриста во мне, которого я никогда не имел, это настораживало меньше, чем должно было бы. А потом я дошёл до пункта, набранного отдельным абзацем, которого не ожидал:

«Ни одно действие, затрагивающее личные границы Подрядчика, не совершается без его ясного согласия. Согласие может быть отозвано в любой момент и без объяснений».

Я перечитал его трижды. Не потому что не понял, а потому что не ожидал увидеть такое от женщины, чьи пальцы холодны, как мрамор, а взгляд оценивает, как аукционист. Это был первый пункт, который она написала для меня, а не для себя.

Потом перевернул страницу и достал записку.

Почерк был торопливый, буквы падали вправо, будто писавший боялся не успеть. Я не знал этого почерка. «Не подписывай. Он уже знает, где ты».

Кто такой «он»? Рогов? Но Рогов знал мой адрес и не скрывал этого. Значит, речь шла о ком-то ещё. О ком-то, кого боялся даже тот, кто написал эти строки.

Я мог сжечь контракт. Мог позвонить в полицию и рассказать про зеркала под бархатом, про ледяные пальцы и про отсутствующую тень на стене. Меня бы выслушали очень внима-

тельно, а потом вызвали бы врача. Я мог собрать вещи и уехать к дальним родственникам в Кострому, и Рогов, возможно, нашёл бы меня, а возможно, и нет.

Я подписал до рассвета. Не из-за денег, по крайней мере не только из-за них. Мне хотелось узнать, что случится, если я вернусь. Это было глупо, опасно и, наверное, единственным честным побуждением за все последние месяцы.

* * *

Элеонора открыла дверь сама.

Я рассчитывал на старика в сюртуке, но на пороге стояла она, в том же зелёном платье, и свеча в её руке освещала лицо снизу, придавая ему что-то детское и очень древнее одновременно.

— Вы вернулись, — сказала она. В голосе не было удивления, но на секунду мне показалось, что она выдохнула.

— У меня пятница, — ответил я. — И вопросы.

— Вопросы подождут. Сначала дом.

Она повела меня через анфиладу, и свечи в канделябрах загорались, когда мы входили в комнату. Я не заметил ни одного выключателя, ни одной спички. Она шла впереди, чуть боком, чтобы видеть меня краем глаза, и рассказывала: здесь были гостиные, здесь играли в карты, здесь в 1893 году сломали паркет, когда танцевали слишком яростно. Она говорила так, словно помнила каждый год, а я слушал и записывал в блокнот размеры, высоты, материалы, потому что так проще было не смотреть на неё слишком долго.

Музыкальная гостиная: рояль под чехлом, струны наверняка давно просели, на стенах пятна от сырости. Зимний сад с остовами пальм в кадках и разбитой стеклянной крышей, сквозь которую падал мелкий дождь, и никто его не останавливал. Бильярдная, где сукно давно побурело, а на шарах лежал слой серой пыли, как будто игра остановилась на полпартии и больше не возобновилась.

У рояля она задержалась. Откинула край чехла, нажала одну клавишу, и в тишине прозвучала фальшивая, дребезжащая, но удивительно тёплая нота.

— Расстроен, — сказал я.

— Всё расстроено. — Она убрала руку. — На нём когда-то играли часами. Не я. Я умела только слушать.

— Кто играл?

Элеонора не ответила. Закрыла чехол, поправила складку так аккуратно, будто укрывала спящего, и пошла дальше. Но я заметил, как замерли её пальцы на тёмной ткани, и подумал, что некоторые вещи в этом доме стоят закрытыми вовсе не от пыли.

На третьем зале я замер.

Потолок осыпался. Лепной венок из дубовых листьев потерял половину листьев, а вместо неба на плафоне темнели разводы воды, похожие на карту несуществующей страны.

— Протечка шла лет сорок, — сказал я, запрокинув голову. — Лепнину можно собрать по фрагментам, вот здесь и здесь работа ещё живая. Нужны леса, гипс, мел…

Я говорил и не заметил, как она подошла сзади. Я понял это по холоду: тонкая прохладная линия вдоль шеи, как от приоткрытого окна зимой.

— Покажите, — сказала она. — Где живая.

Я поднял руку и указал на лепесток под самым карнизом. Её дыхание коснулось моей кожи, и я забыл, как называется гипс.

— Я могу? — спросила она.

Это было не про лепнину. Она стояла так близко, что я чувствовал, как воздух между нами становится тяжёлым, как перед грозой. Она не прикасалась ко мне. Она ждала.

Первый пункт контракта прочитался в голове сам собой.

— Можете, — сказал я.

Её пальцы легли на моё запястье. Не сжали, просто легли, как кладут ладонь на струну. Холод пошёл вверх по руке, и сердце ответило ему ударом, потом ещё одним. Я знал, что она их слышит. Я знал, что она считает.

— Быстро, — сказала Элеонора почти с нежностью. — Вы боитесь?

— Нет.

— Лжёте плохо.

— Я не лгу, — сказал я и повернулся к ней. — Я просто не знаю, чего именно боюсь.

Она стояла в паре сантиметров от меня, и в свете свечей её лицо показалось другим: не строгим, а усталым и очень древним. Она смотрела на мои губы. Всего миг, но я заметил. Что-то дрогнуло под её тонкой бровью, и она отвела взгляд так аккуратно, будто закрывала дверь, которую не хотела захлопнуть.

Потом убрала руку.

— Хорошо, — сказала Элеонора. — Это правильный ответ.

— А какой неправильный?

— «Нет». Люди почти всегда говорят «нет». — Она отошла к окну, и на её голой спине, в разрезе платья, шевельнулись лопатки. — Мне интересно только тех, кто не лжёт.

* * *

К четырём часам я успел расчистить угол потолка, поставить две стремянки, снять мерки с лепных элементов и ободрать ладонь о гипсовую крошку. Порез был пустяковый, неглубокий, но кровь проступила сразу: тёмная и яркая на фоне белой пыли.

Я только хотел зажать его платком, когда в зале стало очень тихо.

Не так, как бывает, когда стихает ветер. Так, как бывает, когда останавливаются часы. Свечи в канделябрах не дрогнули, но огонь на них словно застыл, а воздух стал густым и неподвижным.

Элеонора стояла у окна, но теперь не двигалась. Совсем. Ни дыхания, ни взгляда в сторону, будто кто-то остановил время только для неё. Только пальцы, сжавшие край подоконника, побелели ещё больше, и тонкий мрамор под ними пошёл едва заметной трещиной.

— Элеонора?

— Не подходите, — сказала она очень ровно. Голос шёл откуда-то глубоко, из места, где не было ни интонации, ни тепла. — Перевяжите руку и выйдите в коридор. Прошу вас.

Я послушался. Уже в дверях оглянулся, и она всё ещё стояла там спиной ко мне, с опущенной головой, а плечи её едва заметно дрожали. Я вдруг понял, что этот контроль, который я принял за холодность, стоит ей усилий. Огромных. Каждую минуту. Каждую ночь, которую она проводит рядом с живыми людьми.

Это было страшнее, чем если бы она бросилась. И почему-то ближе.

Когда я вернулся, она уже сидела в кресле у камина, спокойная, как всегда. Только голос был чуть ниже обычного, и на столике перед ней стоял нетронутый бокал с тёмной жидкостью.

— Простите. Мне стоило предупредить. Я давно не позволяла себе… — она запнулась, подбирая слово. — Находиться рядом с живым человеком так долго.

— И много у вас таких «давно»?

— Больше, чем вы можете представить.

— Почему вы не спросили, что в восточном крыле? — вдруг сказала Элеонора.

Я удивился.

— Вы же сказали, что туда нельзя.

— Большинство людей всё равно спросили бы. Одни из любопытства, другие из жадности, третьи просто потому, что им запретили. — Она наклонила голову. — Вы единственный, кто принял запрет и не стал торговаться.

— Я привык, что у домов бывают закрытые комнаты, — пожал я плечами. — У каждого здания есть что-то, о чём его хозяева предпочитают не говорить. Мой первый мастер называл это «костями». Если дом старый и без костей, значит, он ненастоящий.

Она слабо улыбнулась.

— Ваш мастер был мудрым человеком.

— Он был штукатуром с Лиговки. — Я улыбнулся в ответ. — Но да, мудрым.

Мы замолчали. За окнами светлело едва заметно, как будто ночь неохотно уступала место чему-то серому. Я перевязывал руку тонкой полоской ткани и чувствовал, как она наблюдает, не пытаясь помочь, и именно эта сдержанность казалась мне самой честной формой заботы.

И тогда внизу, у парадной двери, раздался звонок.

Один, длинный, настойчивый. Звонить в этот дом было некому: старик-управляющий не пускал сюда даже почтальона, а стены, как я уже понял, не пропускали ни звука извне. Элеонора встала. Все следы усталости слетели с неё, как пыль со стекла.

— Артём, — сказала она, и в её голосе зазвучало то, чего я ещё не слышал. Приказ, за которым пряталась тревога. — Станьте у меня за спиной. И что бы вы ни услышали, не открывайте рот и не называйте своего имени.

Глава 3. Гость

Она не пошла к двери. Она остановилась в центре холла и подняла руку, и тяжёлые створки открылись сами, так же, как открылись для меня в первую ночь.

Я стоял у неё за спиной, как мне велели, в трёх шагах от колонны, и видел только её плечи, прямые, как у солдата перед расстрелом, и тонкую тень свечи на полу. Воздух в холле изменился. Раньше он пах воском и розами, теперь к ним примешался запах мокрого камня и чего-то очень холодного, как будто из дверного проёма вынесли кусок зимы.

На пороге стоял мужчина в сером пальто.

Лет сорока, гладко выбритый, с лицом человека, которого легко принять за юриста или врача: ничем не примечательное, спокойное, внимательное. Он держал в руке тонкие кожаные перчатки и слегка склонил голову набок, как делают люди, которые привыкли, что их приглашают войти. Только волосы у него были абсолютно сухие, хотя на улице снова шёл дождь и по ступеням крыльца лилась вода.

— Элеонора, — сказал он и слегка поклонился. — Прости за поздний час.

— Для тебя он ранний, Марк, — отозвалась она. — Входи, раз пришёл. Порог ты и так уже пересёк.

Он улыбнулся, будто шутку оценили, и действительно шагнул вперёд, неслышно, как кошка по ковру. Я заметил, что он не оставил на мраморе ни одного мокрого следа.

Потом его взгляд скользнул мимо неё и остановился на мне.

Я стоял молча. Но по коже у меня прошла такая волна холода, какой не вызывал и контракт, и записка, и ледяные пальцы хозяйки дома. Взгляд Марка был вежливым и совершенно пустым, как у человека, который изучает меню. Он не угрожал. Он оценивал. И я вдруг понял, что именно так смотрят на тех, кого собираются съесть, но пока не голодны.

— Чудесно, — сказал Марк. — Живой. Тёплый. И пахнет… — он слегка наклонил голову, — страхом, но не твоим. Чужим. Кто-то уже пометил его, Элеонора.

Я не понял, о чём он. Элеонора не обернулась.

— Говори, зачем пришёл.

— Какая ты стала торопливая. — Он повертел перчатки в пальцах. — Совет узнал, что ты впустила в дом человека. Без метки, без поручителя, без единой бумаги. Ты знаешь закон лучше меня: либо он принадлежит тебе, либо он дичь. Третьего не дано. — Марк развёл руками, и жест вышел почти извиняющимся. — Я здесь, чтобы не было недоразумений.

Тишина растянулась. Свеча в канделябре рядом со мной вздрогнула и погасла, и в темноте остался виден только силуэт Элеоноры на фоне тонкого лунного света от окна.

Я подумал: сейчас она спросит у меня, согласен ли я. Она ведь спрашивала о каждом касании. Я уже приготовил слово, которое скажу, «да» или «нет» или что-то ещё, но она не спросила. Она сделала шаг назад, и её ладонь легла мне на грудь, прямо над сердцем, твёрдо и неподвижно.

— Он мой, — сказала Элеонора.

Я почувствовал это буквально: как короткий жар под её рукой, как если бы кто-то провёл пальцем по оголённому нерву. Жар прошёл под рёбра, сжался там в маленькую горячую точку и затих. Марк прищурился. В пустых глазах впервые мелькнуло что-то похожее на интерес.

— Громко сказано. Ты не заявляла прав ни на кого уже… сколько? Сто лет?

— Сто двенадцать. Я знаю свой счёт. — Её голос не дрогнул. — Скажи Совету: имя занесено. Артём Ланской находится под моей рукой. Тронет его кто-то другой, отвечать придётся мне. А я, как ты помнишь, отвечаю плохо.

— Помню, — сказал Марк. — Весной двадцатого года в Выборге. Нам до сих пор рассказывают.

Он долго смотрел на неё. Потом мягко рассмеялся и отступил на ступень.

— Хорошо, Элеонора. Я передам. Но будь осторожна: заявлять права легко, а держать их сложнее. — Он помедлил на пороге и повернулся ко мне в профиль. — И ещё. Корвин будет недоволен. Он уже считает, что этот мальчик принадлежит ему. Из-за долгов брата, как мне намекали.

У меня остановилось дыхание. Я не назвал своего имени. Я не называл имени брата. Никто из нас в этой комнате о Кирилле не говорил.

— Откуда вы… — начал я, и Элеонора резко сжала пальцы у меня на груди. Предупреждение. Я замолчал.

— Кирилл, кажется, у него в гостях, — продолжал Марк. Его голос звучал почти ласково. — Погостит ещё какое-то время. Но, говорят, ему там хорошо.

Дверь закрылась. Не хлопнула, не скрипнула, просто закрылась, и в холле снова стало тихо.

Старик в чёрном сюртуке, который всё это время стоял в тени у лестницы, шагнул вперёд и негромко спросил:

— Прикажете проверить замки, барыня?

— Проверь, Платон. Все. И окна восточного крыла.

— Слушаюсь.

Он поклонился, не поднимая глаз, и ушёл, мягко ступая по ковру. Я проводил его взглядом и вдруг заметил, что руки у старика, обычно спокойные, как у человека, давно разучившегося волноваться, едва заметно дрожат. «Столько лет в одном доме с такими гостями, — подумал я. — Любой задрожит».

* * *

Я не помню, как оказался в кресле у камина в библиотеке. Помню, что Элеонора принесла бокал с чем-то янтарным и вложила мне в руку, и пальцы мои дрожали так сильно, что стекло звенело о перстень.

— Пейте, — сказала она. — Медленно.

Я глотнул. Коньяк, очень старый, с привкусом дыма и сухих фруктов. Он горячей полосой спустился в желудок, и в голове чуть прояснилось.

Библиотека в ту ночь казалась мне иной, чем в первый вечер. Тогда я смотрел на неё глазами подрядчика: считал балки, оценивал состояние паркета, отмечал трещины на потолке. Сейчас я видел только корешки. Тысячи корешков, тёмно-коричневых, зелёных, потёртых, с золотыми буквами, которые чуть заметно мерцали в отсветах камина. Книги стояли так плотно, что между ними не осталось места для пыли, и я подумал: их читали. Не расставляли для красоты, а читали, листали, возвращали на место и снова брали. Рука, которая расставляла их, помнила каждую.

— Кирилл — ваш брат, — сказала Элеонора. Не вопрос.

— Он должен был вернуть деньги Рогову. Месяц назад пропал. Я думал… — голос у меня сорвался. — Я думал, он просто сбежал.

— Нет. Он не сбежал.

— Откуда вы знаете?

— Потому что люди, которые сбегают, оставляют следы. Звонят матерям, берут вещи, прощаются хотя бы с кем-нибудь. — Она помолчала. — Ваш брат прощался?

Я покачал головой.

— Он оставил сообщение. Что вернётся к ужину в субботу. Потом ничего. Ни звонка, ни вещей. Его квартиру я обошёл трижды. Чайник остыл, на столе недоеденное яблоко.

— Яблоко, — повторила она.

— Он вечно ел яблоки, пока что-нибудь придумывал. — Я невесело усмехнулся. — Все его самые безумные идеи рождались над огрызком.

Она сидела напротив, прямая, как струна, и в свете камина её лицо казалось почти живым. Я заметил, что она держит правую руку левой, будто боится, что та потянется ко мне сама.

— Вы сказали ему, что я ваш.

— Да.

— Вы не спросили.

Элеонора опустила глаза. Это был первый раз, когда я видел, чтобы она отвела взгляд первой.

— Не спросила, — сказала она. — Если бы спросила, он услышал бы колебание, и вас уже не было бы в живых. Это не оправдание. Я нарушила собственное правило, а ваш пункт в контракте был моим условием, не вашим. — Она подняла взгляд. — Слово «мой» работает как печать. Оно даёт вам защиту: пока оно произнесено, никто из нашего мира не вправе тронуть вас без последствий. И оно же связывает вас со мной, пока я его не сниму. Я чувствую вас: ваши страхи, ваш пульс. Печать делит всё поровну: и радость, и боль, и, как говорят старые книги, цену, если однажды придётся её платить. Это неудобно, и вы вправе это ненавидеть. Я могу снять печать хоть сейчас. Скажите, и я отпущу.

В комнате пахло воском и старой бумагой. Я смотрел в бокал и думал о Кирилле, о Рогове, о вампире с пустыми глазами и о том, как её ладонь лежала на моей груди, будто всегда там была. Всё остальное в голове было шумом. Эта картинка была ясной.

— А если я не скажу? — спросил я.

На её лице что-то дрогнуло. Едва заметно, но я уловил.

— Тогда я буду делать всё, чтобы ваш брат вернулся. И чтобы вы дожили до пятницы.

— И что вы потребуете взамен?

Она поднялась, подошла ко мне и опустилась на колени рядом с креслом, так, что наши лица оказались на одном уровне. Я не ожидал этого. Она была сейчас совсем не госпожой: просто женщиной, старой и усталой, которая слишком долго ходила одна. Платье цвета бутылочного стекла легло на ковёр тяжёлой складкой, и я увидел, что у неё чуть дрожат плечи.

— Сегодня ничего, — сказала Элеонора. — Только одно. Остаться здесь до рассвета. Я хочу знать, что вы живы, пока ещё темно.

Она не прикасалась ко мне. Её рука лежала на подлокотнике в нескольких сантиметрах от моей. Я посмотрел на эту руку: узкую, с длинными пальцами, с тонкой голубоватой тенью вен под почти прозрачной кожей. Рука, которая могла бы сломать мне шею одним движением. И которая ждала моего разрешения, как ждёт робкий ребёнок.

Я сам накрыл её своей.

Холод ушёл не сразу, но ушёл, медленно, как уходит лёд из ладони, когда его долго держишь. Элеонора закрыла глаза, и на её лице появилось выражение, которое я потом много раз пытался описать и так и не смог: что-то среднее между облегчением и болью.

— Хорошо, — сказал я. — Только объясните мне всё. С самого начала.

Она кивнула и открыла глаза, и на мгновение в их сером омуте мелькнуло что-то, чего я не смог назвать. Благодарность. Или страх, что я действительно останусь.

Глава 4. Правила ночи

Она рассказывала почти час, и ни разу не посмотрела на часы. Мне казалось, что в этом доме они остановились ещё при Николае Втором.

Камин догорал. Поленья осели, и красные жилы в них пульсировали, как живые. Я сидел в кресле, подобрав ноги, с пустым бокалом в руке, и смотрел, как Элеонора рассказывает. Она говорила без пафоса, ровно, как учительница, которая объясняет давно известное и не ждёт аплодисментов. Только иногда, в местах, где речь заходила о людях, голос её чуть менялся, и я начинал различать за ним что-то, похожее на память.

Оказалось, что мир, о существовании которого я не подозревал, устроен как старая аристократическая семья: с титулами, долгами и вековыми обидами. Вампиры делились на дома. Каждый дом держал свою территорию: квартал, район, иногда целый город. Над домами стоял Совет, и его законы не записывались, а передавались, как заклинания, от старших к младшим, сквозь столетия.

Нельзя убивать без приговора. Нельзя обращать без согласия. Нельзя брать чужое: ни территорию, ни людей, которые стоят под чьей-то рукой.

— А кто следит? — спросил я.

— Все друг за другом. — Элеонора слабо усмехнулась. — Это очень дисциплинирует. Если ты нарушишь закон, об этом узнают к закату, а к рассвету уже решат, что с тобой делать.

— А солнце? — спросил я. — Это правда, что…

— Что мы горим? — Она усмехнулась. — Нет. Мы просто слабеем. Днём тело становится тяжёлым, мысли вязкими, и единственное желание — лечь и закрыть глаза. Кто-то спит в гробу, это красиво, но неудобно. Я сплю в подвале, на обычной кровати, с одеялом. — Она слегка поморщилась. — Платон каждый вечер греет мне грелку. Вы не смейтесь.

— Я не смеюсь.

— Смеётесь. Глазами.

Я действительно смеялся, и это почему-то не показалось ей обидным.

— А чеснок? — спросил я, осмелев.

— Чеснок мне не нравится, но не потому, что я вампир. — Она бросила на меня серьёзный взгляд. — Просто я его не люблю. Не путайте мои предпочтения с моей природой.

— А над Советом кто-нибудь есть?

— Легенда, — сказала Элеонора слишком быстро. — Старая страшилка для новичков. Садовник. Говорят, он приходит, когда плод созрел. — Она слегка повела плечом. — Не думай об этом. Её рассказывают только затем, чтобы мы боялись друг друга меньше, чем его.

— А Корвин?

При этом имени она повела плечами, как от сквозняка.

— Корвин любит коллекционировать, — сказала она. Сидела в кресле, поджав под себя ноги, и этот простой жест вдруг сделал её очень молодой. — Картины, часы, людей. Особенно людей, которые должны. Долг для него не деньги, а нить. Потянешь, и человек сам идёт на крючок. Ваш брат взял у Рогова деньги. Рогов работает на него. Вы понимаете, как всё сошлось?

Я понимал. Это было хуже, чем я думал, и одновременно яснее: хотя бы злодея теперь можно было назвать по имени.

— А вы? — спросил я. — Вы тоже… — Я запнулся. — Вы питаетесь людьми?

Она не отвела взгляда. Я оценил это.

— Я питаюсь из банка донорской крови. Полвека, — сказала Элеонора спокойно. — Это унизительно, но безопасно. Кровь из пакета не пахнет страхом и не даёт ни силы, ни радости. Только поддерживает, как капельница. — Она слегка улыбнулась. — Я не святая, Артём. Просто однажды поняла, что не хочу больше отнимать.

— Но сегодня, когда я порезался…

— Сегодня я чуть не нарушила клятву, — сказала она просто. — Живая кровь даёт мне то, чего пакеты не дают, и поэтому я боюсь её сильнее, чем кто-либо из людей боится смерти.

— Откуда вы берёте пакеты? — спросил я, и тут же сам удивился нелепости вопроса.

— Из клиники на Васильевском. — Она слегка пожала плечами. — Фонд «Милосердие» уже сорок лет перечисляет им деньги. Главврач искренне считает, что мы просто богатые вдовы с причудами, которые любят вкладываться в донорство. — Она улыбнулась. — Платон ездит за пакетами по вторникам. Всегда в одном и том же пальто. Однажды медсестра спросила, не священник ли он.

Мы долго сидели молча. Камин догорал, и в его красных отсветах её лицо казалось тёплым, почти человеческим. Я вдруг осознал, что боюсь уже не её. Я боюсь того, что мне хочется сидеть здесь и слушать дальше.

Я встал, чтобы размять ноги, и подошёл к стеллажу. Пальцы сами нашли корешок: «Строительная механика», издание 1887 года, потёртый, с загнутыми уголками. Я вытащил том и открыл. На полях стояли карандашные пометки: цифры, стрелки, короткие замечания, сделанные твёрдой, чуть торопливой рукой. Я узнал этот наклон раньше, чем понял, откуда его знаю: так была подписана рамка с рисунком в коридоре.

— Это читал прежний хозяин дома, — сказала Элеонора. Она не подошла, стояла у камина. — Он любил, чтобы книги были исписаны. Говорил, что чистая страница обижается.

— Вы его знали?

— Когда-нибудь расскажу.

Я поставил книгу на место, осторожно, как ставят что-то живое.

За стёклами библиотеки медленно, неохотно выцветала чернота. До рассвета оставалось часа два, но я уже знал, что в эти два часа не усну, даже если мне предложат кровать и тишину. Всё слишком быстро изменилось, и голова не успевала за ним.

— Вы сказали, что слово «мой» связывает нас, — произнёс я. — Как именно?

— Я чувствую вас, — ответила Элеонора, помедлив. — Не мысли. Только волны. Когда вам страшно, я слышу холод. Когда вы злитесь, я слышу жар. Сейчас…

Она не договорила.

— Что сейчас?

— Сейчас вы любопытны, — сказала она тихо. — И в этом любопытстве есть кое-что ещё. То, что я не имею права называть вслух.

Я встал. Не знаю, зачем: может быть, чтобы не сидеть так близко, может быть, наоборот. Подошёл к камину, взял кочергу и ворохнул угли. В комнате стало светлее. Тени метнулись по книжным корешкам, по золотым буквам на кожаных переплётах, по её лицу.

Я слышал, как она поднялась. Не шаги: шелест платья, едва заметный. Потом тишина, и в этой тишине я почувствовал её взгляд на своей спине. Как прикосновение, которого ещё нет.

Когда я обернулся, она стояла в шаге от меня.

— Можно? — спросила Элеонора.

На этот раз она не уточнила, о чём. И я не стал переспрашивать.

— Можно.

Она подняла руку и коснулась моей щеки кончиками пальцев. Медленно, как прикасаются к вещи, которую давно хотели рассмотреть вблизи. Её пальцы скользнули к скуле, потом к линии подбородка, и я поймал себя на том, что не дышу. Хотелось закрыть глаза, но я не закрыл: хотелось видеть, как она смотрит.

Она смотрела внимательно, почти с удивлением. Так смотрят на спящего ребёнка или на рассвет, которого не видели сто лет.

— Вы тёплый, — сказала она с лёгким изумлением, будто сообщала что-то важное.

— Вы тоже становитесь, — ответил я. Это было правдой: её кожа под моей ладонью, когда я неуверенно накрыл её руку, уже не казалась мраморной.

Её взгляд упал на мои губы. Теперь не на миг, как раньше. Она смотрела, и я позволял себе смотреть в ответ, на тонкий шрам у виска, на тёмные ресницы, на едва заметную усталую складку у рта. Складку человека, который слишком долго держал лицо.

— Остановите меня, — шепнула она. — Если захотите.

— Не хочу.

Тогда она поцеловала меня.

Осторожно, почти робко, как будто боялась сломать. Её губы были прохладными, потом тёплыми, потом перестали быть какими-то вообще: остались только ощущение и ритм моего сердца, которое колотилось так, что наверняка слышал весь дом. Я притянул её ближе, и она ответила не сразу. Секунду она словно боролась с собой, а потом позволила себе: пальцы её скользнули в мои волосы, дыхание, которого у неё не должно было быть, коснулось моего подбородка.

Время замедлилось. Огонь трещал в камине, в окне чернела последняя ночная синева, и всё, что существовало в этом мире, помещалось на расстоянии вытянутой руки: тонкая спина под ладонью, запах воска и роз, лёгкая дрожь, пробежавшая по её плечам, когда я провёл пальцем по обнажённому позвонку.

Когда мы оторвались друг от друга, на щеке у неё блестела единственная слеза. Не красная. Прозрачная.

— Сто двенадцать лет, — сказала Элеонора едва слышно. — Я забыла, как это бывает.

— Я могу напомнить, — сказал я. — Если вы позволите.

Она рассмеялась. Коротко, низко, неожиданно живо. Я ещё не слышал, чтобы она смеялась.

— Не сегодня, — ответила она, отстраняясь. — Сегодня уже довольно. Я хочу, чтобы мы шли медленно. Чтобы у вас было время передумать.

— А у вас?

Она задержала взгляд на мне дольше, чем нужно.

— Я сделала свой выбор, когда открыла вам дверь.

Она взяла мою руку, ту, с перевязанным порезом, и прижала к своей щеке. Потом отпустила и отвернулась, и я увидел, как она вытирает ладонью слезу, быстро, смущённо, будто ей было неловко за собственную человечность.

* * *

За окнами уже посерело. Элеонора проводила меня до холла и остановилась у лестницы, не выходя на свет. Её лицо стало вдруг очень бледным, и губы чуть заметно дрогнули.

— Идите, — сказала она. — Мне пора вниз. Завтра в одиннадцать.

Я кивнул. Хотел сказать что-то ещё, но слова не нашлись. Старик в сюртуке молча открыл мне дверь и подал куртку, которую я, оказывается, оставил в библиотеке, и посмотрел на меня так, будто знал обо мне больше, чем я сам. Я не стал спрашивать.

На улице было холодно и пахло мокрой листвой. Я успел дойти до калитки, когда в кармане завибрировал телефон. Номер был незнакомый, но сообщение пришло с имени, которое я не видел месяц.

Кирилл: «Артём, это я. Не верь ей. Ни одному её слову. Я всё объясню, приезжай один. Адрес пришлю».

Я стоял под дождём и смотрел на экран. Пальцы у меня закоченели, но телефон я не выпускал, будто он мог исчезнуть. Месяц. Тридцать два дня без единого слова. И вот теперь, в то утро, когда я впервые за много лет почувствовал, что хоть кому-то могу довериться…

Я обернулся. Не знаю зачем. Может быть, потому что чувствовал взгляд.

А за моей спиной, в тёмном окне второго этажа, опустилась тяжёлая бархатная штора.

Глава 5. Брат

Адрес пришёл в десять утра: старая баня на Васильевском, закрытая ещё в девяностых. Я перечитал сообщение раз десять, потом выключил телефон и снова включил, как будто мог ошибиться. «Приезжай один. Никому не говори».

Я не спал всю ночь, но усталости не чувствовал. Тело гудело, как провод под током. Перед глазами всё ещё стояла библиотека: огонь, зелёный абажур, её лицо, подставленное моей ладони. Я пытался вспомнить, когда в последний раз так хотел кого-то слушать, и не мог. Может, никогда.

Я мог позвонить Элеоноре. Но она спала, а в доме, где не было ни одного телефона, это означало бы приехать днём и разбудить её, а я не знал, что с ней тогда будет. К тому же Кирилл был моим младшим братом. Я таскал его на плечах, когда ему было пять, и вытаскивал из драк, когда ему было пятнадцать. Когда отец ушёл в один октябрьский вечер, сказав, что вернётся к ужину, и не вернулся, а мама стала слишком тихой, именно он сидел со мной на кухне до рассвета и говорил: «Мы справимся, Тёма, вот увидишь». Если он просил приехать одному, значит, ему было страшно.

Так я себе объяснял. На самом деле я просто хотел услышать его голос.

Я помнил один день из его детства так отчётливо, будто он случился вчера. Кириллу было десять, мне четырнадцать. Какой-то парень постарше отобрал у него на школьном дворе новенький фонарик, мамин подарок на день рождения. Кирилл не заплакал. Просто стоял, сжав кулаки, с белым лицом, и повторял: «Отдай». Я подошёл, и парень, увидев меня, фонарик вернул. Не потому что испугался: потому что Кирилл смотрел на него так, что становилось не по себе.

Потом мы сидели на скамейке за школой, и брат, не поднимая глаз, сказал: «Я бы сам справился». «Знаю», — ответил я. «Тогда зачем ты пришёл?» «Потому что ты мой брат». Он помолчал, шмыгнул носом и протянул мне фонарик: «Подержи пока».

Я держал его до сих пор. Фонарик лежал в ящике стола, давно не работал, и выбросить его у меня не поднималась рука.

* * *

До Васильевского я добирался на метро и пешком. День был серый, мокрый, с низким небом, из которого сыпалась не то морось, не то туман. Я шёл по линиям, мимо облупленных доходных домов и закрытых лавок, и думал о том, что Петербург в такие дни похож на старую фотографию, на которой никого не осталось.

Баня стояла в глубине двора, за облупленным забором. Весь фасад затянуло плющом, и среди красных осенних листьев торчали заколоченные окна, как слепые глаза. Над входом ещё можно было разобрать надпись: «Бани. Мужское отделение». Дверь оказалась не заперта.

Внутри пахло сырым кирпичом и холодным паром, и каждый шаг отдавался эхом в пустых залах. Я прошёл мимо ряда ржавых шкафчиков, мимо кафельной стены, на которой кто-то когда-то нарисовал солнце, и остановился в большом зале с каменными скамьями. Сверху сочился тусклый свет из разбитого купола.

— Артём.

Он вышел из тени между двух колонн. Я не сразу его узнал.

Кирилл осунулся, щёки запали, под глазами лежали тёмные круги, а кожа стала почти прозрачной, будто из него вынули половину крови. Он был в том же свитере, в котором пропал, только теперь тот висел на нём, как на вешалке.

— Ты ел? — спросил я зачем-то, глупо, как спрашивает мать.

Он дёрнул плечом.

— Не знаю. Может. Там не очень понятно, когда день, когда ночь. — Он запнулся. — Мама звонила?

— Она не знает, что ты пропал. Я сказал, что ты в командировке.

Кирилл прикрыл глаза.

— Она всё равно знает. Она всегда знает.

— Кир. — Я шагнул к нему и обнял, и он вздрогнул, как человек, давно отвыкший от прикосновений. Я почувствовал, как под моими ладонями ходят острые лопатки. — Где ты был? Рогов звонил каждый день, я думал…

— Рогов — мелочь, — сказал брат у меня над плечом. Голос был хриплый, ломкий. — Слушай меня. У нас мало времени.

Он отстранился и торопливо заговорил. Что взял деньги у Рогова не потому, что был должен: его подвели, подстроили. Что за всем стоит женщина, которой невыгодно, чтобы кто-то вмешивался в её дела. Что я для неё не архитектор и не человек, а инструмент.

— Куда ушли деньги? — спросил я. — Рогов говорил про оборудование.

Кирилл невесело усмехнулся.

— Я хотел открыть кофейню. Маленькую, на Петроградке. Нашёл помещение, договорился с поставщиком, купил станок. — Он потёр лицо ладонью. — Всё было готово. А потом хозяин помещения вдруг передумал, поставщик исчез вместе с авансом, а станок оказался краденым. Я остался с долгом и с кофемашиной, которую нельзя продать. — Он замолчал. — Я думал, что справлюсь сам. Не хотел, чтобы ты в очередной раз меня вытаскивал.

— Кир…

— Это было глупо. Я знаю. Но я хотел хоть раз сделать что-то своими руками. — Голос его дрогнул. — Теперь выходит, что вытаскивать придётся тебя.

— Ты о ком? — спросил я, хотя уже знал.

— О Ферзен. Она следит за тобой почти год. — Он достал из кармана смятый снимок и сунул мне в руку. — Смотри.

На фотографии был я. Год назад, судя по куртке и по месту: набережная у Новой Голландии, где я тогда реставрировал фасад. Я стоял на лесах спиной к камере и что-то объяснял рабочему. А на заднем плане, у киоска, застыл тот самый старик в чёрном сюртуке. Управляющий особняка.

У меня внутри что-то оборвалось и тихо упало.

— Она знала обо мне давно, — сказал Кирилл. — Она выбрала тебя. Рогов, долги, всё это сделано под неё. Ты думаешь, ей нужен был реставратор? Ей нужен был ты. Живой, тёплый и должный. Таких, как она, не любят, Артём. Их кормят.

Я смотрел на снимок и вспоминал её руку на моём запястье, прохладную и осторожную. «Я не святая, Артём». Она не лгала. Она просто не говорила всего. И всё-таки внутри у меня, как у зарубки на дереве, осталось что-то, что не позволяло мне поверить сразу. Не потому что я хотел защитить её. Потому что у меня в голове не складывалась одна простая вещь: человек, который выбирает жертву, не спрашивает «Можно?».

Я поднял глаза на брата, на его трясущиеся пальцы, на бледную шею над воротником. На коже, чуть ниже уха, темнели две маленькие точки, зажившие, но свежие.

— Кир, — спросил я медленно. — Что у тебя с шеей?

Он дёрнулся и натянул воротник.

— Ничего.

— Тебя кусали.

— Артём…

— Ты был у Корвина. Он сам так сказал. Марк, вчера, у Элеоноры в доме.

У брата дрогнуло лицо. На секунду, всего на одну, я увидел в его глазах настоящий ужас, а потом он исчез, как стёртый. Взгляд сделался мягким и пустым, как у человека, которого убаюкали.

— Он хороший, — сказал Кирилл ровным, чужим голосом. — Он обещал, что нас отпустят. Обоих. Нужно только, чтобы ты пришёл к нему сам.

Я отступил.

В ту же секунду на груди у меня вспыхнуло. Прямо над сердцем, там, где вчера лежала её ладонь: жар, острый, как от раскалённой монеты. И сквозь жар прорвалось то, чего я никогда не ощущал раньше. Это была не моя мысль, но она прозвучала у меня в голове так отчётливо, словно кто-то шепнул на ухо.

Артём. Беги.

Элеонора спала где-то под землёй, в доме, куда не проникал дневной свет, и всё равно услышала. Мой страх разбудил её.

— Кирилл, — сказал я очень тихо. — Отойди от меня.

— Прости, — прошептал он, и по его щеке скатилась слеза. — Он не оставил мне выбора.

Я хотел спросить, о чём он, но не успел. За моей спиной раздался скрип двери.

Я успел обернуться только наполовину. В проёме стоял Рогов, в светлом пальто, с вежливой улыбкой, и при виде него у меня похолодело в животе: я столько раз слышал его голос по телефону, что лицо оказалось совсем не таким, каким я его представлял. Приятное, спокойное, будто у школьного учителя. Рядом с ним стояли двое в тёмных куртках, молча, как мебель. Я рванулся к боковому выходу, но в глазах вспыхнуло белым, и чей-то голос произнёс над самым ухом, почти с сочувствием:

— Тише, мальчик. Тише.

* * *

Я очнулся в движении.

Машина шла плавно, и за тонированными стёклами не было видно ничего, кроме полос света. Пахло дорогой кожей и чем-то горьковатым, как от потушенной сигары. Руки у меня были свободны, но тело не слушалось, как если бы мышцы налили свинцом. В груди всё ещё тлел жар, слабее, чем раньше, но живой.

Передо мной на откидном сиденье, закинув ногу на ногу, сидел пожилой мужчина в безупречном тёмно-синем костюме. Седые виски, тонкие губы, перстень с чёрным камнем. На коленях у него лежала шахматная доска, и он расставлял фигуры не торопясь, по одной, будто вёз её на этот случай не один век.

— Добрый день, Артём, — сказал он с лёгким акцентом, который невозможно было отнести ни к одной стране. — Простите за неудобства. Я никогда не любил приглашать гостей таким способом. Но обстоятельства…

Он поднял взгляд, и мне показалось, что в салоне стало на несколько градусов холоднее.

— Меня зовут Корвин. Вы наверняка слышали. Сыграем?

Глава 6. Партия

— Я не играю с похитителями, — сказал я. Голос вышел сиплым.

Машина мягко шла по какой-то ровной дороге, и я старался запомнить повороты, но стёкла были непрозрачными, а внутри каждая секунда растягивалась в минуту. Голова гудела от того белого удара, который выключил меня в бане. Во рту стоял привкус меди.

Корвин предложил коньяк. Я отказался. Он не обиделся: налил себе, но не выпил, просто поставил бокал на откидной столик и стал смотреть, как в нём дрожит янтарная жидкость.

— Знаете, чем отличается современный мир от прежнего? — сказал он. — Люди перестали ждать. Раньше ждали годами: письма, возвращения, ответа. Теперь не могут дождаться, пока загрузится страница. — Он чуть улыбнулся. — А я умею ждать. Это моё единственное настоящее умение.

— И чего вы ждёте?

— Того же, чего все. Что придёт кто-то, кто должен прийти. — Он повертел бокал. — Забавно, что у Ланских это в крови. «Вернусь к ужину». Что бы ни случилось.

У меня внутри шевельнулось что-то неприятное и холодное. Эту фразу я слышал в детстве каждый день, и только Кирилл в последнем сообщении повторил её почти дословно.

— Откуда вам это известно?

— Присказка, — легко ответил Корвин. — У всех семей есть присказки.

— А вас никто не похищал, — мягко ответил Корвин. — Вас пригласили. Разница в том, что приглашённый может выйти, когда захочет. Попробуйте.

Я потянулся к ручке двери. Рука поднялась на пару сантиметров и повисла, как чужая, словно её привязали невидимой нитью к сиденью. Корвин вздохнул, будто я его огорчил.

— Видите? Не моё упрямство, просто осторожность. Сыграем, и я сам открою вам дверь. Белые или чёрные?

Он говорил так вежливо, так спокойно, что мне хотелось поверить. Вот что было хуже всего. Он не рычал, не скалил зубов, не светился красными глазами. Он сидел напротив меня в безупречном костюме, с рубиновой булавкой в галстуке, и просто предлагал сыграть, как предлагал бы это любому уважаемому гостю. Я вдруг понял: так выглядит опасность у тех, кто прожил достаточно долго, чтобы научиться не выглядеть опасным.

Я выбрал чёрные. Не из храбрости: просто хотелось, чтобы он ходил первым и я мог видеть, как он думает.

Он играл красиво и без спешки. Двигал фигуры кончиками пальцев, будто гладил. Фигуры были старинные, из слоновой кости и чёрного дерева, и у каждой своё лицо: король с усталыми глазами, ферзь с гордо поднятым подбородком, пешки, похожие на маленьких солдат. Мы сделали десяток ходов, прежде чем он заговорил снова, не отрывая взгляда от доски.

— Вы ходите, как строитель. Защищаете опоры и не замечаете, что здание уже горит. Это ваш семейный недостаток. Прадед тоже любил сначала укрепить фундамент.

Я замер с пешкой в руке.

— Какой прадед?

— Владимир Ланской, — сказал Корвин. — Он строил дом на Каменном острове для княгини Голицыной. Вы разве не знали? В семейных историях такое обычно сохраняется. — Он поднял на меня глаза. — Дом был его лучшей работой. И последней. Потому что в восточном крыле он построил комнату, о которой потом пожалел.

Я опустил фигуру. В памяти всплыло: мама, на кухне, с чашкой чая, говорит, что отец её отца был «каким-то архитектором, строил где-то в Петербурге, но фамилию потом исправили». Тогда мне было десять, и я не придал этому значения.

— Я знаю этот дом по чертежам, которых нет в архивах, — продолжал он, всё так же мягко. — Комнату запечатали замком, который открывается только рукой его потомка. Только крови Ланских. Ферзен давно знала об этом. Поэтому она искала именно вас. Не ради вашего таланта и не ради вашей, простите, привлекательности. Ради ключа.

У меня зашумело в ушах.

— Вы лжёте.

— Я сказал чистую правду, — спокойно ответил Корвин. — Просто не всю. А вы, по-моему, уже начали подозревать.

Я вспомнил её слова: «Восточное крыло закрыто, даже если дверь окажется открытой». Вспомнил старика на фотографии. Вспомнил, как она смотрела на моё запястье. И как потом сказала «Остановите меня, если захотите».

— Что в комнате? — спросил я.

— То, что принадлежит мне. — Он двинул ферзя. — Шах.

Я посмотрел на доску. Ход был красивый и точный. Я потерял слона, потом пешку, потом остался с королём, который метался между двумя угрозами. Корвин ждал. Он не торопил, и от этого спокойствия у меня всё сильнее холодело между лопаток.

— Знаете, что в ней самое удивительное? — сказал Корвин, пока я думал над ходом. — Не сила. Не возраст. Терпение. Она держит этот дом, как вдова держит траур: никого не впускает, ничего не меняет, каждое утро поправляет скатерть на столе, за которым давно никто не ест. Больше ста лет. Это требует мужества. Или глупости. Я до сих пор не решил, чего именно.

— Вы говорите так, будто хорошо её знаете.

— Лучше, чем кто-либо. — Он улыбнулся. — Мы когда-то были друзьями. Не удивляйтесь. Даже у таких, как мы, бывает прошлое.

Я сделал вид, что рассматриваю доску. На самом деле слушал, как внутри щёлкает что-то холодное, расчётливое и очень спокойное. Он хотел, чтобы я жалел её. Или, наоборот, не доверял. Я не мог понять, чего из двух. И это, пожалуй, было единственным, что он умел делать по-настоящему хорошо: заставлять людей сомневаться в самых простых вещах.

И тут я заметил то, чего не замечал раньше. На стекле позади него, затемнённом, дрожали слабые отблески от фонарей снаружи. Но самого Корвина в этом стекле не было. Ни профиля, ни плеч, только пустая спинка сиденья.

Это мелочь. Но я вдруг подумал о том, как мало у меня осталось ходов, и о том, что единственный человек, который за всё это время не пытался меня заставить, носил на лице усталость вековой давности.

Я сделал ход королём. Не к спасению, к краю доски. Это было почти самоубийство.

Корвин впервые нахмурился.

— Странно, — сказал он. — Вы жертвуете позицией, чтобы выиграть время. Это не ваша манера.

— Я учусь, — ответил я. — Прадед не всё мне передал. Но кое-чему меня научил брат. Когда сильный противник давит, надо дать ему поверить, что он уже выиграл.

Я не был уверен, что говорю то, что хочу. Но под рёбрами снова вспыхнул жар, и я понял: Элеонора слушает. Не словами, чувством. Она знает, где я. Она идёт.

Корвин откинулся на спинку.

— Вы думаете, что она придёт за вами, — сказал он. — Не думаю. Она сделала ставку на вас, как на ключ. Теперь ключ в чужих руках. Её интерес к вам закончился.

— Если так, зачем вам меня убеждать?

Его улыбка стала тоньше.

— Потому что вы упрямы, и я предпочитаю договариваться. Откройте комнату по доброй воле. Тогда ваш брат вернётся домой, долг Рогова будет погашен, а вы забудете всё, как дурной

сон. Я даже позабочусь, чтобы воспоминания о ней оказались… — он помедлил, подбирая слово, — приятно размытыми. Если же откажетесь…

Он не договорил. Просто смахнул с доски короля, и фигура стукнула о коврик.

— Подумайте до пятницы. Я не люблю повторять.

Машина остановилась. Дверь щёлкнула и открылась сама. Снаружи пахло мокрым асфальтом и воском, и сквозь прорези ограды я увидел знакомую чугунную решётку.

— Одно вам на прощание, — добавил Корвин, когда я уже вышел, шатаясь, как после качки. Он протянул мне сложенный пополам лист плотной старой бумаги. — Спросите у неё про это. Если она ответит честно, значит, я проиграл. Если нет, вы будете знать, кому верить.

Машина тихо отъехала, и я остался один на пустой дорожке перед воротами.

* * *

Сумерки уже ложились на остров. Ветер гнал по аллее листья, и они шуршали у моих ног, как бумажные птицы. Я стоял у ворот, сжимая лист в замёрзших пальцах, и не знал, куда идти. Домой? В полицию? К брату, которого я, кажется, потерял?

Ворота открылись сами.

Элеонора стояла на дорожке. Босиком, в тонком чёрном платье, с растрёпанными волосами, которых я у неё ещё не видел. Лицо было белым, как мел, а глаза чёрными, без серого, словно расширились до самых краёв. Она шла ко мне так быстро, что мне показалось, она не касается земли.

— Ты жив, — выдохнула она и остановилась в шаге. Впервые она назвала меня на «ты». Руки её дрожали. — Ты жив. Я чувствовала, как ты уходил, и не могла… Дом не пускал меня днём. Я рвала дверь, пока не…

Она не договорила. Просто посмотрела на мои руки.

На лист, который я держал.

Я развернул его, не понимая зачем. Это был чертёж, выцветший, с пятнами и ровным почерком, который я узнал бы где угодно, потому что он был так похож на мой. Дом. План восточного крыла. И одна комната, обведённая красным.

Элеонора побледнела ещё сильнее, хотя казалось, что дальше некуда.

— Откуда у тебя это? — спросила она шёпотом.

Глава 7. Правда

Мы вернулись в библиотеку. Элеонора разожгла камин сама, без свечей и без приказов, на коленях, неловко, как человек, давно не делавший этого руками. Я смотрел, как огонь лижет поленья, и ждал. Чертёж лежал на столе между нами, и красный кружок на нём казался свежей раной.

— Рояль, — вдруг сказал я. — В музыкальной гостиной. Вы не ответили, кто на нём играл.

Элеонора помолчала.

— Сестра. Она играла так, что слушать приходили слуги из соседних домов. — Она слабо улыбнулась. — Потом её не стало, и рояль накрыли.

Больше она ничего не добавила, а я не стал спрашивать.

На улице совсем стемнело. Сад за окнами потонул в сыром мраке, только одинокий фонарь у ворот горел жёлтым пятном, и в его свете кружились последние листья. Дом молчал, будто тоже слушал.

— Корвин сказал тебе правду, — начала она, не оборачиваясь. — Но только половину.

— Я уже слышал про половины.

— Знаю. — Она наконец повернулась. — Дом построил твой прадед, Владимир Ланской. Он был моим другом. Одним из немногих, кто знал, кто я. В тысяча восемьсот девяносто первом Корвин пришёл ко мне с просьбой: он хотел спрятать от Совета вещь, без которой не смог бы существовать. Свой сосуд. Его… — она поискала слово, — его отражение. Всё, что он когда-то был человеком.

— Сосуд?

— Каждый из нас привязан к чему-то. Большинство теряют эту вещь в первые века. Корвин сохранил свою и спрятал в моём доме, потому что доверял мне. А потом понял, что я могу ею распорядиться. — Она слабо улыбнулась. — Владимир построил комнату так, чтобы открыть её могла только его кровь. Я попросила его об этом. Не Корвин. Я.

Я опустил чертёж на стол.

— То есть он не лгал только о том, что вещь у вас.

— Он лгал о том, чья она. Сосуд не принадлежит ему. Он держит Корвина на привязи. Пока комната закрыта, Корвин не может ни умереть, ни по-настоящему править. Всё, что он делает, он делает в ожидании момента, когда сможет её открыть. Он зависит от этой двери.

— И вы искали меня, чтобы я её открыл.

— Да.

Она не попыталась смягчить это. Я ждал, что она станет оправдываться, и почти хотел этого: тогда было бы легче злиться. Но она стояла прямо, сцепив пальцы, и смотрела мне в лицо, как смотрят люди, которые приготовились к удару.

— Год, — сказала Элеонора. — Я наблюдала за тобой год. Узнавала, где ты работаешь, что любишь, с кем живёшь. Мне нужно было знать, согласишься ли ты прийти и согласишься ли открыть. Платон делал снимки. Рогов, долги: это не моя работа. Но когда Корвин потянулся к тебе, я поняла, что времени не осталось, и написала тебе сама, через посредника, с предложением работы.

— А записка в папке?

Она покачала головой.

— Её я не писала. Не знаю, кто это сделал. Я увидела её в тот вечер, когда ты спросил, и в ту минуту решила, что Корвин добрался до моего дома раньше, чем я думала. Кто-то из моих слуг, возможно, пытался тебя предупредить. Или предупредить меня. — Она нахмурилась. — Я не хочу гадать. Если я начну подозревать каждого, я сойду с ума.

Я слушал и чувствовал, как внутри что-то перестраивается. Не злость, не обида: что-то более тихое. Как будто я годами смотрел на здание, вижу трещину и вдруг понимаю, что несущая стена вовсе не там, где я думал.

Злость, которую я ждал в себе, так и не пришла. Вернее, пришла, но не та. Я злился не на неё. Я злился на то, как всё сложилось: на долг, на Рогова, на брата, который не мог просто прийти и сказать правду, на самого себя, что не разглядел, как Кирилл тонет. А она стояла напротив, не прячась и не оправдываясь, и в этом было что-то, чему трудно сопротивляться: честность, не просившая награды.

— Почему ты сказала мне сейчас? — спросил я. — Могла бы промолчать, пока я не открою комнату.

Она подошла ближе. Не вплотную, на расстояние вытянутой руки, и остановилась.

— Потому что ты сказал: «Я просто не знаю, чего именно боюсь». Никто не говорил мне этого сто двенадцать лет. Все боялись знакомого или лгали, что не боятся. — Голос её стал совсем тихим. — Я выбирала тебя за ключ, Артём. А потом перестала выбирать. Просто хотела, чтобы ты вернулся.

В комнате стало очень тихо. Огонь потрескивал, и где-то далеко, в глубине дома, медленно ударили часы.

Мне следовало уйти. Взять чертёж, поехать к Рогову, к Кириллу, куда угодно. Но я смотрел на неё, на женщину, которая дрожала, как девочка, хотя прожила больше ста тридцати лет, и ничего не мог поделать с тем, что слышал.

— Вы могли мне просто сказать, — произнёс я. — В первый вечер.

— Ты бы поверил?

— Нет, — признал я.

— Вот именно.

Она опустила глаза, потом подняла их снова.

— Я сниму печать, если хочешь. Прямо сейчас. Ты уйдёшь, и я не тронусь с места. Я дам тебе денег, найму людей, чтобы искали твоего брата. Всё без условий.

Я шагнул к ней и взял её лицо в ладони. Кожа под пальцами была прохладной, но не мёртвой: она отзывалась на касание, как отзывается мрамор на дыхание, потеплев на долю градуса.

— Не снимай.

Она замерла.

— Я зол, — сказал я честно. — Я не знаю, что с этим делать. Но я здесь по своей воле, и ты это знаешь, раз чувствуешь меня.

Элеонора закрыла глаза.

— Чувствую, — прошептала она. — Ты зол. И ты хочешь меня.

— Да.

Это было так просто, что почти смешно.

Она открыла глаза, и в них больше не было ни стали, ни расчёта. Только вопрос, и я ответил на него тем, что поцеловал её первым.

* * *

На этот раз всё было иначе. Не осторожно и не робко: мы оба слишком долго молчали. Её руки скользнули мне под куртку, потом к пуговицам рубашки, и я чувствовал, как она замирает на каждой, спрашивая. Я накрыл её пальцы своими и сам расстегнул одну, потом другую. Она тихо выдохнула. Холод её ладоней под тканью был острым и странно приятным, как глоток воды в жару.

— Можно? — шепнула Элеонора мне в шею. Я почувствовал, как её губы замерли над пульсом. — Без зубов. Только так.

— Можно.

Она прижалась губами к тому месту, где билась жила, долго и нежно, и меня пронзило чем-то таким, что я не смог сдержать звука. Её пальцы вплелись в мои волосы. Моё сердце колотилось у неё под ладонью, а в её груди, там, где у людей должно биться, медленно, будто пробуждаясь, возникло что-то похожее на слабый ритм.

Я подхватил её и опустил на ковёр у камина, на тёмную ткань, нагретую огнём. Её волосы рассыпались по плечам. Она смотрела на меня снизу вверх, и в этом взгляде не было ни власти, ни покорности. Только доверие, редкое и хрупкое, как первый лёд.

Дальше были губы, ладони, шёпот на двух языках, имя, которое она произнесла так, будто пробовала его на вкус. Время остановилось, как часы в этом доме. Я не помню, сколько оно длилось. Помню только огонь на её плечах, холод и тепло, которые наконец перестали спорить друг с другом, и последний долгий вдох, когда она спрятала лицо у меня на груди и сказала:

— Я не одна.

Я обнял её крепче, не находя слов. В окне над нами чернела ночь, и в её стекле дрожало отражение огня, единственное отражение, которое этот дом позволял себе без чёрного бархата.

Она лежала рядом, не шевелясь, и я чувствовал, как под моей ладонью, там, где у людей бьётся сердце, ровно и глубоко движется что-то другое: не пульс, а тишина, которая прислушивалась к моему.

— Расскажи мне про него, — сказал я. — Про Владимира.

— Он смеялся, — ответила она после паузы. — Это первое, что я помню. Очень громко, очень не к месту. На похоронах одного из своих рабочих, когда все молчали, он вдруг захохотал над каким-то воспоминанием, и вдова, к моему удивлению, тоже засмеялась. — Она слабо улыбнулась в темноте. — Он умел делать так, чтобы людям не было стыдно быть живыми.

— Я его не знал.

— Знаешь, — сказала Элеонора. — Ты так же держишь карандаш.

* * *

К рассвету я лежал на ковре, укрытый её платьем, а она сидела рядом, обхватив колени, и смотрела на чертёж, разложенный на полу. Лицо у неё было серьёзное, сосредоточенное и совсем без усталости. Я смотрел на неё и думал, что никогда не видел человека, который выглядел бы так живо, как она в эту минуту.

— Если мы уничтожим сосуд, — сказала Элеонора, — Корвин умрёт. Навсегда. Совет не сможет вмешаться, потому что он нарушил закон, прячась от них. Все, кого он держал, будут свободны.

Я приподнялся на локте.

— Значит, Кирилл…

Она замолчала. Надолго. Я увидел, как вздрогнули её плечи.

— Артём, — сказала она наконец, и я уже знал, что услышу. — Те, кого Корвин укусил и подчинил, привязаны к нему той же нитью. Если оборвётся она, оборвутся все.

У меня остановилось дыхание.

— Ты хочешь сказать…

— Если мы разрушим сосуд, твой брат умрёт вместе с ним.

Глава 8. Совет

— Мы не можем разрушить сосуд, не погубив Кирилла, — сказал я. — Значит, нужен третий путь. Тот, кто знает законы лучше нас.

Элеонора долго смотрела на огонь. За окном серело, но библиотека ещё держалась в полутьме, и в этой полутьме её профиль казался вырезанным из белого воска.

— Совет, — выговорила она наконец. — Они могут вмешаться и могут отказаться. Они не любят Корвина, но и меня не любят. Для них мы оба давно стали слишком шумными.

— Тогда сделаем так, чтобы им стало неудобно молчать.

Она повернулась ко мне, и на её губах мелькнула улыбка, которой я раньше не видел. Не вежливая и не усталая: азартная, почти девчоночья.

— Ты быстро учишься, Артём Ланской.

День тянулся, как бинт, который не хочет заканчиваться. Элеонора ушла вниз перед самым восходом, и я остался один в огромном спящем доме. Платон принёс мне постель в гостевой спальне, горячий чай, тарелку с чем-то домашним, чего я даже не смог определить на вкус. Я лёг, не раздеваясь, и провалился в серый, без сновидений сон, из которого вынырнул ближе к вечеру с чувством, что за ночь постарел на десять лет.

Около полудня я проснулся от вибрации телефона. Мама. Я долго смотрел на экран, прежде чем ответить.

— Тёма, ты почему не звонишь? — сказала она вместо приветствия, и по голосу я понял, что она уже полчаса держит трубку у уха и собирается с духом. — Я вчера пыталась до тебя дозвониться. У тебя телефон был выключен.

— Работа, мам. Объект закрытый, ночью, телефоны запрещены.

— Какая работа ночью?

— Очень серьёзный заказчик. Платит хорошо.

Она помолчала. Потом, мягче, добавила:

— Ты ужинал?

— Ужинал.

— Не ври матери. У тебя голос человека, который ужинал вчерашним бутербродом. — Я не смог сдержать улыбку. — Я тут пирог испекла. Приедешь, привезу…

— Приеду, мам. Скоро. Обещаю.

Положив трубку, я долго лежал, глядя в потолок. Обещать маме «скоро» было самым нечестным из всего, что я говорил в последнее время.

Вечером, когда на остров снова опустились сумерки, Платон постучал в дверь и коротко сказал:

— Барыня просит вас собираться. Совет согласился принять вас сегодня в час ночи.

Я посмотрел на него. В его лице, как всегда, не было ничего, кроме усталой вежливости. Только пальцы, держащие поднос, чуть дрогнули. Тогда я не придал этому значения.

Платон принёс чёрный костюм. Не новый, но безупречно выглаженный, в чехле, пахнущем кедром и лавандой. «Барыня просила, — сказал он. — Совету следует являться в приличном виде». Я примерил. Пиджак сел так, словно его шили на меня, и я подумал, что в этом доме, должно быть, хранится одежда на любой рост и на любой век. Платон придирчиво оглядел меня, одёрнул полу и вдруг на секунду замер, будто увидел кого-то другого. Потом кашлянул, поправил воротник и вышел, не сказав ни слова.

* * *

Совет собирался в закрытом клубе на набережной Фонтанки. Снаружи это был обычный особняк с вывеской, которую никто не мог прочитать, а внутри пахло старым деревом, конья-

ком и чем-то металлическим. Элеонора говорила, что клуб принадлежит ей, но сегодня он был нейтральной территорией: так велел закон.

Мы вошли через боковую дверь. Она держала меня за руку, как держат человека на лестнице в темноте, и впервые не пряталась за холодной маской. На ней было тёмно-зелёное платье, а волосы она собрала так же строго, как в день нашей первой встречи, но я уже знал, что за этой строгостью стоит.

Коридор вёл мимо тёмных гостиных, где кое-где сидели за столами фигуры, не поднимавшие голов. Никто не здоровался. Никто не провожал нас взглядом, но я чувствовал на себе внимание, как лёгкое давление на кожу. Здесь все всё знали.

— Не смотри по сторонам, — сказала Элеонора. — Смотри вперёд. И не называй никого по имени, если они сами не представятся.

— А если спросят?

— Тогда говори только правду. Они чувствуют ложь.

В зале нас ждали трое.

Во главе стола, под высоким окном, сидела женщина, которой на вид можно было дать и шестьдесят, и шестнадцать. Её волосы были белыми, лицо гладким, а глаза старше самого здания. Справа устроился Марк, всё в том же сером пальто, слева худой мужчина с длинными пальцами, который не поднял на меня глаз ни разу.

— Лидия, — сказала Элеонора и слегка склонила голову. — Благодарю, что приняли.

— Не благодари, — ответила седая женщина. Голос у неё был сухой и точный, как у учительницы. — Я пришла потому, что ты наконец сделала то, чего я ждала сто лет: назвала кого-то своим. Любопытно, что ты скажешь теперь.

Марк хмыкнул.

Элеонора выпрямилась.

— Корвин нарушил закон дважды. Спрятал сосуд вне Совета и превратил людей в рабов без их согласия. Среди них брат этого человека. — Она слегка коснулась моего плеча. — Мы просим суда и защиты.

— Суд не бывает без обвиняемого, — заметил Марк. — А Корвин пока никого не оскорбил. Он, насколько я знаю, даже пригласил мальчика на партию в шахматы.

Я почувствовал, как у меня вспыхнули уши.

— Он меня похитил, — сказал я.

Все трое обернулись. Худой мужчина впервые поднял глаза. Они были серые, прозрачные, как талая вода.

— Говорите, юноша, — произнесла Лидия. — По закону человек, которого объявили под рукой, имеет право на слово.

У меня пересохло во рту. Я не оратор. Я привык говорить с рабочими и заказчиками, объяснять, где несущая стена, а где можно сломать. Но я вспомнил лицо Кирилла в бане, его пустой, чужой взгляд, и слова нашлись сами.

— Мой брат взял взаймы деньги. Это глупость, но не преступление. Его подставили, укусили и превратили в приманку. Он плакал, когда отдавал меня. Это не выбор. — Я перевёл дыхание. — Вы называете себя Советом. Вы существуете, чтобы такого не было. Я не прошу вас любить Элеонору. Я прошу вас сделать то, ради чего вы здесь сидите.

В зале стало очень тихо. Где-то в коридоре тикали старые часы, и каждый удар казался оглушительным.

Марк открыл рот, но Лидия подняла ладонь.

— Красиво сказано, — заметила она. — И, что редкость, без лести. — Она повернулась к Элеоноре. — Ты знаешь, что разрыв нити невозможен, пока жив сосуд?

— Знаю.

— И знаешь, что разрушение сосуда убьёт всех, кого Корвин привязал?

— Знаю. Поэтому мы здесь.

Лидия кивнула. Худой мужчина слева наклонился к ней и что-то прошептал, и она долго молчала, прежде чем ответить. Я смотрел на её сухие пальцы, на чуть заметно подрагивающую жилку у виска, и вдруг понял, что она старше Элеоноры вдвое, а может, и втрое. Что для неё мы оба, и она, и я, не больше, чем эпизод.

— Есть третий путь, — сказала она. — Его почти не применяют. Сосуд можно не разрушить, а перенести. Тот, кто возьмёт его в руки добровольно, примет и власть над нитями. Он сможет разорвать их по одной, не убивая. Вернуть каждого, кто захочет вернуться.

— Кто? — спросила Элеонора, и я услышал, как напряжён её голос.

— Тот, кто связан с кровью Ланских, чтобы комната его впустила. — Лидия перевела взгляд на меня. — И с рукой, под которой он ходит, чтобы сосуд его принял. Иначе он убьёт держащего.

Я понял раньше, чем она договорила.

— Артём, нет, — быстро сказала Элеонора.

— Подожди.

— Артём, ты не знаешь, что это такое…

— Тогда пусть скажут, — перебил я её и посмотрел на Лидию. — Что со мной будет, если я возьму его?

Она ответила не сразу. И в этом молчании я прочёл больше, чем в любых словах.

— Сосуд питается тем, кто его держит, — наконец произнесла Лидия. — Чем дольше держишь, тем больше он берёт. Тебе дадут срок: от недели до месяца, пока ты разрываешь нити. Потом его нужно будет отдать. Тому, кто сможет выдержать. Или уничтожить, когда нитей не останется.

— И если я не успею?

— Тогда сосуд решит за тебя.

Элеонора молчала. Рука её, лежавшая у меня на плече, слегка дрожала.

— Совет придёт в дом в субботу, в полночь, — добавила Лидия и поднялась. — Мы выступим арбитрами. Корвин решит, что идёт открывать комнату, и в этот момент спросим его: чем он готов ответить. Если откажется, решит нож. Но выбор остаётся за тобой, юноша. Мы не можем и не будем тебя принуждать.

Она ушла, не оглядываясь. За ней двинулся худой мужчина. Марк задержался в дверях, и мне показалось, что в его пустых глазах на миг отразилось что-то человеческое.

— Вам повезло, — сказал он тихо, только мне. — Она никогда не говорит так много. Подумайте как следует.

* * *

Мы вышли на набережную. Воздух был ледяным, и над Фонтанкой висела тонкая дымка, в которой фонари казались расплывчатыми лунами. Элеонора шла рядом, не говоря ни слова, потом резко остановилась и схватила меня за лацканы.

— Ты не можешь, — сказала она. В её голосе дрожала настоящая, живая злость. — Я не позволю. Я не для этого…

— Для чего? — спросил я мягко.

Она вздрогнула, опустила руки и отвернулась.

— Я нашла тебя не для того, чтобы потерять.

Я взял её за плечи и повернул к себе.

— Элеонора, у нас меньше двух суток. Брат под его властью. Ты сама сказала, что другого пути нет. Я тебя слышу и не отмахиваюсь. Но решать это мне. Это моя семья.

Она долго смотрела на меня. Потом положила голову мне на грудь, и мы стояли так, пока река не начала светлеть. Ветер трепал её волосы, и одна прядь легла мне на щёку, пахнущая розами и холодом.

— Хорошо, — сказала она наконец глухо. — Тогда мы сделаем это вместе. И я найду способ, чтобы ты вернулся.

Я хотел ответить, но в кармане завибрировал телефон. Второе сообщение за двое суток от человека, которого я боялся и хотел видеть больше всего на свете.

Кирилл: «Артём, я один. Корвин спит. Я убежал. Забери меня с Сенной, прямо сейчас. Пожалуйста».

Глава 9. Сенная

— Это ловушка, — сказала Элеонора.

— Возможно.

— Почти наверняка.

— Тогда поедем так, чтобы она не сработала. — Я показал ей экран. — Он написал «с Сенной». Не «на Сенную», не адрес. Мы с ним в детстве ходили туда к бабушке. Там есть проход между двух домов, который знаем только мы. Если это Корвин, он выбрал бы что-нибудь попроще.

Она взглянула на небо над Фонтанкой, ещё чёрное, с едва заметной серой полосой у горизонта, и приняла решение.

— У нас два часа до света. Платон подаст машину с плотными стёклами. Я поеду с тобой. Не спорь.

— Не буду.

Это, кажется, удивило её больше всего.

Машина стояла у соседнего подъезда, чёрная, длинная, с наглухо затемнёнными окнами. За рулём сидел Платон. Он не повернулся, когда мы сели сзади, только кивнул отражению в зеркале, и мне показалось, что на секунду его плечи напряглись. Потом он тронул машину с места так плавно, словно под колёсами не асфальт, а вода.

На солнцезащитном козырьке, приколотая булавкой, торчала маленькая фотография: девочка лет четырнадцати, с густой тёмной косой, смеётся, зажмурившись. Я заметил её случайно, когда Платон открывал мне дверь. Он перехватил мой взгляд, быстро, почти испуганно, одним движением поправил козырёк так, что снимок скрылся, и пробормотал: «Прошу прощения, молодой человек». Я кивнул и сел, не задавая вопросов: у каждого свои секреты, а у человека, живущего в таком доме, их, должно быть, больше, чем у других.

Элеонора сидела рядом в тёмном пальто с высоким воротником и перчатках, натянутых до локтей. Она казалась сжатой пружиной. Свет редких фонарей полосами скользил по её лицу, и в каждой полосе я видел что-то новое: тревогу, решимость, нежность, которую она тут же гасила.

— Расскажи мне о Совете, — попросил я, чтобы не молчать. — Что за люди?

— Не люди, — поправила она без улыбки. — Но если хочешь, расскажу. Лидия, которую ты видел сегодня ночью, самая старшая. Её никто не любит, но все слушаются. Не потому что боятся: потому что она всегда оказывается права. Это страшнее любой угрозы. Марк… — она помедлила, — Марк самый честный из них, хотя сам этого не знает. Он слишком много видел и поэтому всё время держит что-нибудь тёплое в руках: чашку, кружку. Говорит, что это привычка.

— А остальные?

— Остальные ждут. — Она отвернулась к окну. — Все мы чего-то ждём. Большинство просто не помнит чего.

— Если что-то пойдёт не так, — сказала она тихо, — ты бежишь. Не смотришь на меня. Бежишь к машине.

— Я не побегу без тебя.

— Артём…

— Я не побегу без тебя, — повторил я, и она замолчала, только сжала мою руку в перчатке сильнее, чем нужно.

* * *

Сенная в шесть утра выглядела так, будто город забыл её выключить. Мокрые лотки, брошенные ящики, редкие люди в куртках с капюшонами, запах гнилой капусты и дешёвого

кофе. Мы оставили машину на соседней улице и пошли пешком: Элеонора в длинном тёмном пальто, с поднятым воротником и перчатками, я чуть впереди. Она держалась в шаге позади, и я чувствовал её присутствие, как слабое давление на затылок.

Улицы здесь были узкие, кривые, и каждая подворотня вела в двор, а каждый двор в другой двор. В детстве мы с Кириллом играли тут в «разведчиков»: прятались в арках, обменивались паролями, носили бабушке молоко. Бабушка жила на четвёртом этаже в доме без лифта, пахнувшем борщом и старой пылью. Я дошёл до знакомого угла и вдруг остановился. Горло перехватило от нахлынувшей нежности: так отчётливо, будто сам вернулся в девять лет.

Проход между домами нашёлся сразу. Узкий, тёмный, воняющий кошками и сырым камнем. В конце его, под единственной лампой, ссутулившись, стоял Кирилл.

Он был в той же куртке, только на этот раз без капюшона, и я увидел его лицо полностью: серое, запавшее, мокрое от слёз. Он смотрел на меня и не двигался.

— Кир, — сказал я. — Это я.

— Знаю, — прошептал он. — Я сбежал. Правда сбежал. Он спал, и я… — Голос его сорвался. — Артём, я не хотел. Тогда, в бане. Он держал меня за горло изнутри.

Я шагнул к нему, и в ту же секунду почувствовал на спине тёплую, живую ладонь Элеоноры: она не толкала, а предупреждала. Тихо, на грани слышимости, она произнесла:

— Артём. Его глаза.

Я посмотрел. Зрачки у брата были слишком широкие, но не пустые. В них стояла настоящая паника. Это не была маска.

— Он не лжёт, — сказал я.

— Нет, — согласилась она. — Но он не один.

Она резко повернулась, и в ту же секунду из темноты за аркой вышли трое. Рогов был среди них: всё то же светлое пальто, вежливая улыбка и пистолет в руке, на который он смотрел так, словно тот был чужим. Двое других держались чуть позади, тяжёлые, молчаливые, с пустыми глазами тех, кого ведут на верёвочке.

— Артём, ну что ты, — сказал Рогов. — Я же просил тебя быть умным мальчиком.

Дальше всё произошло так быстро, что я потом долго собирал это в голове по кускам. Элеонора шагнула вперёд, и пальто её соскользнуло с плеч на асфальт. Двое людей Рогова разом бросились на неё, и я не заметил, как она двигалась. Один отлетел к стене и сполз вниз, не вставая. Второй успел ударить ножом. Лезвие чиркнуло по её предплечью, она зашипела и перехватила его запястье. Хруст. Нож звякнул о камни.

Рогов выстрелил.

Пуля ударила в стену над моей головой, осыпав лицо кирпичной крошкой. Кирилл закричал. Я схватил его за локоть и рванул в сторону, в узкий проём между баками, и в тот же миг Элеонора оказалась рядом с Роговым: пальцы её сомкнулись на его кисти, и пистолет упал.

— Передай хозяину, — сказала она. Спокойно, почти ласково, глядя ему в глаза. — Ночь ещё не кончилась.

Рогов обмяк и сел в лужу, глядя в пустоту. Она не убила его: я видел, как она сдержала руку.

— Быстро, — бросила Элеонора мне. — Пока не рассвело.

Мы бежали к машине втроём. Кирилл спотыкался, я тащил его за руку, а она шла сзади, прикрывая нас, и тёмное пятно на рукаве её рубашки расплывалось всё шире. Улицы мелькали, как кадры чужого сна: мокрый асфальт, мусорные баки, перекошенная вывеска аптеки, забытая детская варежка на заборе.

* * *

Платон гнал машину по пустым улицам, не задавая вопросов. На заднем сиденье было тесно и пахло мокрой шерстью, железом и ещё чем-то сладким, что я теперь безошибочно узнавал.

Элеонора сидела у окна, прижав левую руку к раненому предплечью. Лицо у неё было белое, на губах выступила тонкая тёмная полоска. Она держалась прямо, но я видел, как мелко подрагивают её пальцы.

— Тебе нужна кровь, — сказал я.

— Не сейчас.

— Элеонора.

— Я справлюсь, — повторила она сквозь зубы, и я заметил, как она старается не смотреть на Кирилла. Тот сжался в углу и дрожал.

Я закатал рукав и протянул ей запястье.

— Нет, — сказала она резко. — Не при нём. И не так.

Но в её взгляде мелькнуло то самое, детское, голодное, и я понял, чего ей стоит отказ.

— Тогда дома, — сказал я. — Когда будешь готова. Я никуда не денусь.

Она медленно кивнула и прикрыла глаза.

— Спасибо, — выдохнула она. Одно слово, но я услышал в нём всё, что она не произнесла.

Кирилл всю дорогу смотрел на нас по очереди. Когда машина въехала во двор, он наконец заговорил:

— Ты ей веришь?

— Да, — сказал я.

— Раньше ты никому не верил.

— Раньше мне никто не оставлял выбора.

Он ничего не ответил, только отвернулся к окну.

* * *

Дом принял нас молча. Платон отворил двери, и тепло, пахнущее воском и сухими розами, обняло усталое тело. Элеонора осталась на пороге на секунду дольше, чем нужно, и я увидел, как она проводит пальцами по косяку, будто проверяя что-то.

— Заходи, — сказала она Кириллу. — Ты приглашён.

Он шагнул через порог. Я заметил, как дрогнула лампа в холле, как стихло дыхание дома. Кирилл остановился посреди зала, оглядываясь, и лицо его прояснилось.

— Здесь тихо, — прошептал он. — Впервые за месяц тихо.

Я обнял его за плечи, и он обмяк, как ребёнок, уткнувшись лбом мне в ключицу. Я закрыл глаза от облегчения. Он был жив, тёплый, настоящий, и я чувствовал, как под моей ладонью часто, по-птичьи, бьётся его сердце.

И тут Элеонора сказала очень тихо:

— Артём. Отойди от него.

Я открыл глаза.

Она смотрела не на нас. Она смотрела на ближайшее зеркало у лестницы, то самое, на которое всегда была наброшена чёрная ткань. Ткань сползла. Медленно, будто кто-то тянул её изнутри, и в тёмной глубине стекла показалось отражение.

Моего брата. Вернее, того, что стояло рядом со мной.

В зеркале у него было другое лицо: узкое, с тонкими губами и седыми висками. Оно улыбалось.

— Благодарю за приглашение, — сказал Корвин голосом моего брата. — Теперь я дома.

Глава 10. Кровь по доброй воле

Кирилл не упал и не закричал. Он выпрямился в моих руках медленно, как человек, которого поднимают за нитки, и повернул ко мне чужое лицо. Глаза у него стали светлыми, почти бесцветными, а на губах застыла вежливая улыбка Корвина.

— Не бойтесь, юноша, — сказал он. — Я не причиню вреда вашему брату, пока вы благоразумны.

Я отпустил его, как отпускают раскалённое железо. Он остался стоять посреди холла, только пальцы мелко подрагивали, а плечи, ещё секунду назад сутулые, расправились так, как никогда не умел держать их мой брат.

В доме что-то изменилось. Огоньки свечей в канделябрах качнулись и вытянулись к нему, как цветы к солнцу, а по стенам прошёл тихий вздох, который я сначала принял за сквозняк. Дом узнавал гостя. Этого я ожидал меньше всего: что стены, которые защищали нас, могут помнить и другого хозяина.

— Выйди из него, — сказала Элеонора. Она стояла у перил, прижимая руку к раненому предплечью. Голос у неё был ровный, но я видел, как с каждой секундой темнеет пятно на рукаве. — Он не твой.

— Он мой больше, чем твой, — мягко возразил Корвин. — Ты пригласила его в дом, и дом открыл мне дверь. Спасибо. Мне очень не хватало этой гостиной. Здесь всегда было так тепло.

Он сделал шаг к лестнице. Я заметил, как под его ногой заскрипел паркет, тот самый, который сломали в 1893-м. Дом отзывался на него, как на старого хозяина.

— Я могу уйти хоть сейчас, — продолжал Корвин. — Просто откройте комнату. Один жест. Один порез на пальце. И брат ваш будет свободен, а Элеонора получит покой.

— Лжёшь, — сказал я.

— Ложью я называю то, чего не могу выполнить. А это могу.

У меня сжалось всё внутри. Потому что он, возможно, и правда мог. И потому что я видел, как у брата дёргается веко, будто в нём изо всех сил пытались достучаться до собственного тела. Он был там, внутри, в этой оболочке, и я не мог до него дотянуться.

Элеонора пошатнулась. Я бросился к ней и подхватил под локоть. Она была холодна, как лёд, и дышала тихо и часто, как раненая птица.

— Силы уходят, — прошептала она. — Он знал. Ударил в тот момент, когда я слабее всего.

— Тебе нужна кровь.

— Артём…

— Нужна, — повторил я твёрже. — Иначе не удержишь дом.

Она посмотрела на меня. В глазах её шла борьба: гордость, страх, голод и то странное тепло, которое я теперь узнавал.

— Ты уверен?

— Я сам предложил. Это моё слово, не твоё.

Она закрыла глаза на секунду. Потом кивнула и повела меня за собой, вверх по лестнице, в маленькую гостиную рядом с библиотекой. Корвин не шевельнулся. Только улыбнулся ещё шире, и от этой улыбки хотелось закрыть дверь на три замка.

* * *

Маленькая гостиная была круглой, тёплой, с одним окном, затянутым плотной шторой. Здесь стоял диван, обитый выцветшим бархатом, столик с остывшим чайником и старинные часы, которые, к моему удивлению, шли. Тихо, мерно, как обычное сердце.

Она усадила меня на диван и села рядом, подобрав платье. Рука у неё дрожала.

— Если станет плохо, скажи слово, — сказала Элеонора. — Любое. «Хватит». «Стоп». Я остановлюсь.

— Я знаю.

— Не обещай «знаю». Скажи, что скажешь.

Я почти улыбнулся.

— Если станет плохо, я скажу «Фонтанка».

— Почему Фонтанка?

— Потому что там я перестал бояться.

Она посмотрела на меня долгим взглядом, и в нём было слишком много, чтобы можно было выдержать.

— Запястье, — сказала она. — Только запястье. Я не буду трогать шею.

Я протянул руку. Она взяла её обеими ладонями, повернула вверх и прижалась губами к тонкой коже над пульсом, туда, где билась жила. Не кусая, пока нет. Просто дыша. Я чувствовал, как у меня по руке бегут мурашки, как в животе сжимается что-то тёплое и тугое, и подумал, что страх и желание, оказывается, умеют звучать одним голосом.

— Готов?

— Да.

Укол был коротким и острым, как от булавки. А потом пришло другое. Тёплая волна поднялась от запястья по руке, к плечу, к горлу, и мир на мгновение стал мягким и размытым, как в тумане. Я слышал её дыхание, чувствовал мягкие, осторожные движения губ, и в то же время в голове всплывало что-то совсем не моё: яркий свет в окне, запах старого дерева, смех. Незнакомый голос звал её по имени, не «Элеонора», а как-то иначе, нежнее.

Я понял, что вижу её память. Кусочек, не больше секунды. Девушка в белом платье стоит у реки, и лодка уходит от берега. А потом всё оборвалось.

Она отстранилась. Тихо, слишком быстро, и я увидел на её нижней губе одну тёмную каплю. Она вытерла её тыльной стороной ладони, и глаза её были мокрыми.

— Достаточно, — выдохнула Элеонора. — Больше не нужно.

— Элеонора…

— Прошу тебя. Мне хватит. Если я возьму ещё…

Она не закончила. Взяла платок, перевязала мне запястье, туго и очень бережно, потом положила ладонь мне на щёку.

— Ты видел, — сказала она. — Я почувствовала. Это не страшно. Просто… это была моя сестра. Лодка. Давно.

— Прости, что подсмотрел.

— Не за что. — Её голос дрогнул. — Я рада, что ты увидел. Хоть кто-то.

На лице у неё проступал цвет, не человеческий румянец, а что-то похожее, живое. Раненая рука сама собой выпрямилась, пятно на рукаве перестало расти. Она встала, и в движениях её снова была та лёгкая, хищная точность, от которой замирало сердце. Я хотел встать следом, но колени подогнулись, и она подхватила меня раньше, чем я успел упасть.

— Осторожно, — сказала Элеонора. — Ты отдал мне больше, чем думаешь. Посиди минуту.

— У нас нет минуты.

— Есть. Одна есть всегда.

Она села рядом, и мы молчали, слушая, как внизу кто-то неторопливо, по-хозяйски ходит по холлу. Её рука лежала на моей. Я накрыл её второй ладонью, и впервые за этот день мне стало не страшно.

— Тебе больно? — спросила она наконец. — Рука.

— Нет. Только голова немного кружится.

— Это пройдёт. — Она осторожно взяла моё запястье и посмотрела на повязку, как смотрят на подарок, который боятся испортить. — Я должна сказать тебе спасибо. Не за кровь. За то, что ты не отдёрнул руку.

— Я хотел.

— Знаю. Я слышала. — Она слабо улыбнулась. — И всё равно не отдёрнул.

Я накрыл её ладонь своей.

— Что я видел? — спросил я тихо. — Там, в конце. Девушку на берегу.

— Сестру. — Помолчав, она добавила: — Я расскажу. Но не сейчас. Сейчас у нас есть дела поважнее, чем моё прошлое.

Я кивнул. Её рука лежала в моей, прохладная, неподвижная, и мне почему-то не хотелось её отпускать.

* * *

Корвин, говорящий голосом Кирилла, ждал нас в холле. Только теперь он сидел на нижней ступени лестницы, закинув ногу на ногу, и вертел в пальцах одну из шахматных фигур. Чёрного короля.

— Подкрепилась, — заметил он. — Что ж, неплохо. Но тебе не хватит сил выставить меня, Элеонора. Я в твоём доме и в теле, которое ты сама приняла.

— Я его пригласила, — согласилась она. — Значит, я могу и отозвать приглашение.

Корвин поднял брови.

— Тогда он окажется на улице. Рассвет близко. Вы готовы потерять мальчика?

— Нет, — сказала она. — Поэтому я отзову не его.

Она подошла к зеркалу, то самое, с которого сползла ткань, и положила ладонь на стекло. Кровь у неё на пальцах, моя кровь, оставила на поверхности тонкий красный след.

— Корвин, — произнесла она ясно, словно читая приговор. — Ты не гость в этом доме. Твоё присутствие здесь не по приглашению, а по обману. Я отзываю его. Выйди.

Стекло потемнело. Лицо в нём исказилось: на секунду оно стало юным, потом старым, потом пустым. Из горла Кирилла вырвался хриплый звук, и он рухнул на ступени, как подрубленный. Я успел подхватить его, прежде чем он ударился головой о камень.

Зеркало треснуло. Тонкая трещина побежала по стеклу от угла к углу, и в ней мелькнули последние слова, хриплым, злым шёпотом:

— Пятница будет моей. А сосуд, девочка, давно не там, где вы его ищете.

Потом всё стихло.

Кирилл дышал. Неровно, судорожно, но дышал. Я прижал его к себе, чувствуя, как у самого дрожат руки, и поднял глаза на Элеонору. Она стояла у зеркала, опираясь ладонью о раму, и смотрела не на меня, а в сторону восточного коридора.

— Что? — спросил я.

— Артём, — сказала она медленно. — Посмотри.

Я повернул голову.

В конце длинного коридора, где всегда стояла глухая дверь, закрытая на кованый засов, теперь горел тонкий золотистый свет. Дверь была приоткрыта. Совсем чуть-чуть, на ширину ладони.

И оттуда, из глубины восточного крыла, кто-то тихо, почти ласково напевал колыбельную.

Глава 11. Колыбельная

Мы уложили Кирилла в гостевой спальне на втором этаже. Он спал тяжело, вздрагивая, но дыхание его выровнялось, а на щеках появилось что-то похожее на цвет. Я сидел на краю кровати и смотрел, как поднимается и опускается его грудь под одеялом, и считал вдохи, как в детстве, когда он болел ангиной и я боялся, что он перестанет дышать посреди ночи.

Платон принёс плед и молча стоял в изножье кровати, пока я не накрыл брата. Старик смотрел в пол, и мне показалось, что руки у него дрожат сильнее, чем положено в его годы. Он переставил стакан воды на тумбочке, поправил занавеску, снова переставил стакан: делал то, что делают люди, которым нужно занять руки, чтобы не сказать лишнего.

Среди ночи Кирилл вдруг заговорил во сне. Невнятно, быстро, сбиваясь, и я наклонился, чтобы расслышать. «…не надо, я не пойду… Артём… не верь…» Он вздрогнул, и я положил ладонь ему на лоб. Лоб был горячий и влажный. «Тише, — сказал я. — Я здесь». Он затих, но ещё долго шептал одно и то же слово, которого я так и не смог разобрать.

Платон вошёл тихо, с подносом, на котором стояли стакан тёплого молока и тарелка с чем-то, пахнущим домом. Поставил на тумбочку, как ставят вещи, которым нельзя мешать, и остановился у окна.

— Хороший мальчик, — сказал он негромко. — Не по годам худой.

— Он не ел месяц.

— Видно. — Старик помолчал. — У меня дочь, молодой человек. Почти ему ровесница. — Он осёкся, как будто сказал лишнее. — Была. Давно не видел.

— Она уехала?

Платон не ответил. Только покачал головой, поправил занавеску и вышел так же тихо, как вошёл. Я посмотрел ему вслед, и мне почему-то стало неловко, будто я заглянул в чужое окно. Расспрашивать я не стал.

Я тогда не придал этому значения. Мне казалось, что дрожат все.

— Идём, — сказала Элеонора у двери. — Пока свет не взошёл.

— Ты боишься? — спросил я.

— Да. — Она ответила без паузы. — Я столько лет закрывала эту дверь, что почти забыла, зачем. Оставалось только знание: не открывать. Теперь придётся.

— Если не хочешь…

— Хочу. В том-то и беда. — Она слабо улыбнулась. — Страх и желание иногда звучат одинаково. Ты, наверное, знаешь.

Мы шли по восточному коридору вдвоём. Она впереди, я на шаг позади, с перевязанным запястьем и чертежом в нагрудном кармане. Коридор был длинным и узким, с низким потолком, и на стенах не висело ни одной картины. Только бра в виде бронзовых лилий, и огни в них горели ровно, будто никогда не знали сквозняка. Пахло не воском, как в остальном доме, а сухим деревом и чем-то древним, как в закрытых церквях.

Колыбельная становилась всё отчётливее: тонкий детский голос без слов, одна и та же мелодия, медленная, как зыбь. Она шла сквозь стены, мимо запертых дверей, и я поймал себя на том, что подстраиваю шаг под её ритм.

— Ты её знаешь? — спросил я.

— Нет, — сказала она, и в голосе её было что-то странное. — То есть… да. Не сразу. Очень давно.

Дверь оказалась тяжёлой, дубовой, с бронзовой ручкой в виде львиной головы. Я остановился и провёл пальцем по косяку. Дерево было тёплым, почти живым, и на нём, на уровне глаз, тёмнела маленькая, уже подсохшая капля.

— Кровь, — сказал я. — Свежая.

— Кириллова, — ответила Элеонора тихо. — Корвин открыл дверь его рукой, пока я думала, что держу тебя за плечи.

Она не обвиняла себя. Просто констатировала, как врач констатирует диагноз. Потом толкнула створку.

Комната была круглой. Потолок уходил вверх куполом, и стены от пола до самого купола покрывали зеркала в тусклых рамах, и каждое отражало нас с задержкой, будто нехотя. Было странное чувство, что меня разглядывают сотни одинаковых людей, которые не совсем я. В центре на низком столике стояла небольшая колыбель из тёмного стекла, и в ней, поджав колени, сидел мальчик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.